

A black and white studio portrait of a young woman with dark, curly hair, looking directly at the camera. She is wearing a light-colored, long-sleeved dress with intricate lace detailing on the bodice and sleeves. The background is a soft, mottled studio backdrop.

Анна Воскресенская

Право на вопрос

Анна Воскресенская

Право на вопрос

<https://litres.ru/73919588>

SelfPub; 2026

Аннотация

Москва, январь 1901 года. Пятнадцатилетняя Вера Лагодина еще ходит в гимназию, но ее детство уже заканчивается. В сумке – томик Тургенева, в душе – мечты о Высших женских курсах. Ее мир – уроки, библиотека, вечный подсчет рублей и строгие правила. До тех пор, пока в заснеженном переулке она не бьет книгой по лицу незнакомого гимназиста.

Илья Арсеньев не ухаживает, не пишет стихов и не обещает спасти от бедности. Он просто видит ее – настоящую, без прикрас. Между ними вспыхивает то, чему еще не время, – глубокая, молчаливая связь, которую оба не могут ни разорвать, ни осуществить.

Страна катится к войне и революции, а Вера сдает свой главный экзамен: научиться выбирать себя. Даже если это означает шагнуть в неизвестность, где, возможно, больше нет того, ради кого все начиналось.

Первая книга цикла «Тихий договор», охватывающая 1901-1907 годы. Атмосферная историческая драма о взрослении, праве на собственную судьбу и любви, которая незаметно становится стержнем, удерживающим на краю.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	29
Глава 4	42
Глава 5	50
Глава 6	76
Глава 7	104
Глава 8	137
Глава 9	155
Конец ознакомительного фрагмента.	156

Анна Воскресенская

Право на вопрос

Глава 1

Вера вышла из дома, когда солнце уже клонилось к крышам, а на снегу легли первые синие тени – целые озера холода, разлитые меж домов. Воздух был не просто колючий – он звенел, как тонкое стекло. Каждый вдох обжигал ноздри, но за ним следовало странное опьянение – чистое, почти горькое, напоминание: ты жива, и мир вокруг хрустально ясен, даже если ты в старых ботинках.

Мать, завернувшись в шерстяную шаль (ту самую, что связала еще в Одессе, когда танцевала в частном театре), только что убрала со стола выкройки – шила для своей ученицы – дочери лавочника с Пречистенки. Работа неблагодарная: платили копейками, но требовали совершенства. Лицо у матери было усталое, красивое и замкнутое. Ее длинные черные волосы, выющиеся от природы, туго убраны в узел, открывая изящные уши, в которых поблескивали маленькие золотые серьги-кольца – последнее, что осталось от приданого.

Вера помнила, как однажды мадемуазель Жанна, что служила у «тех, у кого три кареты и французенка-компаньонка

для хозяйки, а не для детей», сказала: «Лидия Григорьевна, вы – как олива среди берез. Не хуже, не лучше... просто другая». Мать тогда лишь кивнула – без улыбки, но и без обиды. Она знала: в Москве «другая» – не комплимент, а предупреждение.

«Зингер» стоял у окна, накрытый чехлом из тика. Лидия Григорьевна – танцмейстерша, но в последние годы уроков все меньше, и подработка шитьем – не роскошь, а необходимость. С тех пор как служивший в управе Петр Сергеевич, титулярный советник, преставился от «грудной скорби», пенсия выходила такая, что и на жилье едва хватало. Шитье стало ее второй профессией. Первая – танцы – требовала света, зеркал, публики. А нынешняя жизнь – только терпения, полутьмы и бесконечных метров дешевого ситца.

– Не задерживайся, Вера, – сказала она, поправляя выбившуюся волнистую прядь у виска. – Через два дня гимназия, а ты еще тетради не пересмотрела.

– Не забуду, мама, – ответила Вера, поправляя черную шерстяную шапочку, связанную матерью, – небрежно-изящную. Подруги кривились («Носишь Бог знает что!»), но шапочка хотя бы не слетала на ветру, в отличие от их кокетливых шляпок. Шапочка подчеркивала блеск ее глаз: больших, изумрудно-зеленых, с темными ресницами, от которых на щеках лежали тени даже в полдень.

На ней было теплое суконное платье цвета спелой вишни (перекроено из старого мамино), по верху – длинное, почти

до щиколоток, пальто из сукна цвета кофе с молоком, с воротником из кроличьего меха. Пятнадцать лет – пограничный возраст: уже не девочка, но еще и не женщина. Пальто – взрослое, и она в нем тонула. На следующий год, обещала мать, сошьют новое. По мерке. На ногах – прочные ботинки на резиновой подметке (когда-то – «новинка из Парижа», теперь такие продают и в Москве), в руках – потрепанная сумка из мягкой кожи.

В ней лежали две книги: «Отцы и дети» Тургенева и томик стихов Фета, взятый «на вырост» – как если бы жизнь впереди еще даст ей понять, почему «шепот, робкое дыханье...» важнее, чем «все на свете». Волосы Веры – густые, черные, выющиеся от природы – были заплетены в две косы и спускались до пояса. Даже Варвара Костромина, у которой локоны светлые, как лен, и запах французских духов, однажды сказала с завистью: «У тебя кудри сами вьются, а мне приходится их крутить на палочках до слез».

Подружки ждали у чугунного, с тусклым газовым рожком фонаря на углу Остоженки. Надя – румяная от мороза, в надетом до бровей платке, и Лиза, высокая, вечно сутулившаяся, будто стесняющаяся своего роста, переминались с ноги на ногу. Они тронулись по Волхонке до Воздвиженки, где за каменной оградой Пашкова дома виднелись окна библиотеки Румянцевского музея. Путь занимал минут пятнадцать, не больше – если не задерживаться у витрин.

– Представляешь, – сказала Надя, выдыхая облачко пара,

– мадам велела к следующему уроку выучить все фигуры мазурки! Говорит, если не выучим – останемся после занятий. Вот честное слово, Вера, я лучше еще раз «Отцов и детей» перечитаю, чем эти па и фигуры зубрить.

– Да уж, – отозвалась Лиза своим обычным тоном – будто заранее со всем соглашалась, но оставляя себе простор для оправданий, – в прошлый раз я так запуталась в мазурке, что чуть не упала. А Варвара Костромина, как всегда, делала вид, что родилась с веером в руке.

– Тебе-то хорошо, – Надя покосилась на Веру без зависти, скорее с усталой констатацией факта, – небось, эти фигуры во сне танцуешь.

Вера только плечом повела. Спорить было глупо: мазурку она и правда знала с десяти лет.

– А платье у нее новое! – вздохнула Надя уже о Варваре. – С настоящим кружевом, не то что у нас – мать из старого переделывает...

Помолчали. Потом Надя, как бы вспомнив, махнула рукой:

– Ах, все равно! Через два дня в гимназию... А я «Отцов и детей» до конца не дочитала. Мария Павловна велела написать рассуждение: «Может ли нигилист быть благородным человеком?» Как будто благородство – это что-то изящное, вроде вальса.

– Да ладно, – отозвалась Лиза, – все равно сначала спросит: «Кто такой Базаров?» И если скажешь «нигилист», по-

лучишь «недостаточно». Надо сказать: «Трагический образ разночинца, отрицающего отжившие устои, но попадающего в сети естественного чувства». Вера, ты как скажешь?

Вера вздрогнула, вернувшись из своих мыслей.

– Я скажу, что он был честен с собой. До конца. Даже когда это было больно.

В библиотеке, в величественном и немного запущенном Пашковом доме, царил свой, особый порядок. Здесь пахло не просто пылью, а пылью знаний, смешанной с запахом старых переплетов и мастики для паркета. Вера любила этот запах.

Анна Семеновна, библиотекарь с лицом, как у средневековой миниатюры – бледным и строгим, – принимая «Отцов и детей», посмотрела на Веру поверх очков.

– Опять Тургенев, госпожа Лагодина? Когда же вы перейдете к чему-то более серьезному? К Гоголю, к Лескову?

– А разве «Отцы и дети» – не серьезно? – тихо спросила Вера, но тут же опустила глаза. Спорить с Анной Семеновной было все равно что спорить с самой Историей.

Та лишь покачала головой, как будто Вера была нерадивой ученицей, которая упорно выбирает не те ноты для гамм.

Читательский билет – картонный, в коленкоровом переплете, с круглой печатью Румянцевского музея – был их пропуском в иной мир. Его выдали по протекции профессора Орлова, пожилого, одинокого человека, у которого мать когда-то давала уроки «телесной гармонии». Ходатайство было

милостью, а милость, как известно, имеет обратную сторону – контроль. Вера протянула заполненные требования на новые книги: «Записки охотника», «Таинственный остров», «Юность».

Анна Семеновна медленно, с чувством собственного достоинства, заполняла карточки, макая перо в чернильницу-непроливайку.

– «Таинственный остров» Жюль Верна, – произнесла она так, будто вынесла приговор. – Для гимназистки... легкомысленно. «Юность» графа Толстого... – Она задержала взгляд на Вере. – Книга, дитя мое, о юношеских сомнениях, когда душа колеблется между Богом и плотью. Вам ли, в ваши годы, искать ответы там, где их нет даже у мудрецов?

Она поставила печать с таким видом, будто прикладывала ее к судьбе. Печать легла с глухим стуком. Звук был похож на щелчок замка.

Вера взяла книги, прижала к груди. От корешков пахло чем-то сладковатым – не то клеем, не то временем. Она вдруг подумала, что Анна Семеновна, наверное, никогда не читала «Таинственный остров» просто так, без оглядки на возраст и чин. Просто чтобы узнать, как пять человек выжили на клочке земли посреди океана. Просто чтобы почувствовать соленый ветер в волосах, которого нет в Москве.

– Благодарю, – сказала она едва слышно и отошла от стойки.

После девочки еще немного погуляли, но было холодно,

и вскоре все заторопились домой – кто куда.

Вера выбрала Малый Знаменский переулок. Тихий, с высокими заборами усадеб, в сумерках он казался более уютным, безлюдным. Она свернула в него не раздумывая. Там, в узком извилистом пространстве, горели газовые фонари – желтоватые, дрожащие, будто живые, бросающие на снег не столько свет, сколько колеблющиеся пятна, в которых кружилась морозная пыль. Это была тихая, благополучная часть города – дворники знали жильцов, а городской обходил ее каждые два часа. Но в сумерках, когда тени сгущались у стен, даже здесь становилось... иначе.

И вот они появились. Трое. В темно-синих гимназических шинелях с серебристыми пуговицами, надетых внакидку – расстегнутых, так что видны были мундиры того же цвета. На головах – фуражки со светло-синими околышами. Они шли, занимая всю ширину тротуара, и их смех – громкий, немного натужный – разрывал тишину переулка.

Вера замерла на мгновение. Инстинкт велел отступить, гордость – идти дальше. Она выбрала гордость, сделав лицо каменной маской, какое видела у матери в моменты особого напряжения. Но ладони в вязаных перчатках стали влажными.

Когда между ними осталось три шага, рыжий – тот, что поменьше, с лицом, резким и насмешливым, – вдруг остановил на ней взгляд. Не любопытствующий, не оценивающий – изучающий. Как коллекционер-энтомолог изучает редкого

жука. Он вытянул губы, издал резкий, каркающий звук – не просто крик, а акт агрессии, проверки границ.

И Вера – не от страха, а от этого внезапного, животного вторжения в ее пространство – отшатнулась. Ботинок на резиновой подметке, так надежно державший на льду, теперь предательски скользнул по наледи, и она, запнувшись о выщербленный край тротуарной плиты, тот самый, о который спотыкались все, кто не знал этого переулка с детства, начала падать. Падение было стремительным, нелепым. Она упала плашмя, подставив миру спину в стареньком пальто, а лицо – холодной пощечине снега. Первой мыслью было: «Книги!» Она инстинктивно прижала сумку к груди, принимая удар на себя.

И тогда раздался смех. Не мальчишеский, озорной, а сардонический, почти взрослый. В этом смехе было торжество силы над слабостью, «своего» над «чужой».

– Ой-ой! Да это ж Белоснежка! Прямо из сказки! – голос блондина звенел фальшивой восторженностью.

– Только принца не хватает! – подхватил рыжий, и в его ледяных глазах вспыхнул азарт.

Она поднялась. Мир накренился. Шапочка сбилась набок. Тяжелые косы, вырвавшиеся из-под пальто, были в снегу. Она чувствовала, как холодная вода затекает за воротник. Стояла, дрожа не от холода, а от унижения, которое жгло изнутри.

И тогда высокий, тот, что с короткими каштановыми куд-

рями, молча шагнул вперед. Он не смеялся. Его лицо было серьезным, почти растерянным. Он протянул руку – ладонь в кожаной перчатке, широкую, длиннопалую. Жест мог быть как насмешкой, так и рыцарской вежливостью.

Вера не стала разбираться. В ней что-то оборвалось. Вежливость, страх, годы правил и условностей – все разом отступило. Она, не глядя, со всей силы рванула сумку снизу вверх – и угол томика Толстого со всего размаха пришелся по его скуле с глухим, костяным стуком.

Наступила тишина. Смех оборвался. Высокий отшатнулся, прижав ладонь к лицу. В его глазах – сначала шок, затем непонятная вспышка – не гнева, а скорее изумленного узнавания. Блондин и рыжий остолбенели. Они ожидали слез, испуганного бормотания, бегства. Они получили ответную агрессию. От девочки. Это выбивало почву из-под ног, ломало сценарий.

– Ты с ума сошла?! – закричал рыжий, но в его крике уже не было уверенности, только растерянность и возмущение.

Она не слышала. Она подхватила сумку и бросилась прочь – домой. Не изящно, не по-девичьи, а сломя голову, как бегут мальчишки, спасаясь от сторожа. Ее сердце колотилось не от страха, а от дикого, ликующего нервного возбуждения. Она ударила. Она ответила.

Вера промчалась по переулку, выскочила на Остоженку и только там, свернув в свой 2-й Ильинский, позволила себе замедлить шаг.

Дом был старым, двухэтажным, некогда купеческим особняком, давно перестроенным под доходный дом.

Вера с матерью снимали две комнаты на втором этаже, с окнами во двор. Воду носили из колонки во дворе, уборная была в конце коридора, общая на всех, – но дом считался хорошим, тихим, и жильцы здесь были свои, небогатые интеллигенты: учителя, мелкие служащие, вдова аптекаря. Лагодины снимали здесь уже несколько лет, еще со времен отца, и хозяйка, пожилая вдова чиновника, держала для них цену пониже – за аккуратность и тишину. Вера любила этот дом почти родственной любовью. Здесь прошло ее детство, когда в их комнатах бывало шумно и тесно от гостей. Теперь гости почти не приходили, но стены помнили.

Вера остановилась у чугунной колонки, стряхнула снег с пальто, с кос, поправила шапку. И – быстро, дважды – встряхнула пальцами, как мать делала перед уроком: чтобы дрожь ушла. Только потом вошла – спокойная, как будто ничего не случилось.

В квартире пахло каленым молоком и ванилью. Из гостиной доносилась музыка – мать завела граммофон: кажется, Глазунова, что-то плавное, из балета. Мелодия плыла неровно, с шипением, но в ней чувствовалась та же усталая грация, что и в движениях матери, когда она накидывала шаль.

Лидия Григорьевна вышла в коридор, держа в руках игольницу.

– Ну что, душенька? Какие книжки взяла?

– Верн, – выдохнула Вера, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – И Толстого. «Юность».

Мать взглянула на нее – пристально, но без упрека.

– «Юность»? – тихо переспросила она. – Ты уже... до этого дошла?

Помолчала. Потом, почти шепотом:

– Ну... хоть не Желиховская.

Вера поела молчаливо, опустив глаза в тарелку. Суп был жидковат, но горяч. Потом ушла к себе, умылась над железным ручкомойником в углу, зажгла керосиновую лампу на столе – с белым матовым абажуром, отбрасывавшим ровный, теплый круг света, – и открыла дневник. Общую тетрадь в клетку, перевязанную розовой лентой.

Чернильница, перо, чистая страница. Но писать было нечего. Вернее, было слишком много. Внутри бушевала буря из стыда, гордости, страха и какого-то нового, почти испуганного волнения. Она ударила незнакомца. Чужого мальчика. И теперь ее мир, состоящий из книг, уроков и тихих переулков, дал трещину. Сквозь нее прорывалось что-то живое, опасное и пугающе настоящее.

Она разделась и легла на кровать. Лежала, глядя на стену над дверью, где в старой лепнине прятался ангел с обломанным крылом – его Вера видела с детства. Он не падал, не плакал – просто смотрел вниз, будто знал что-то, чего она не понимала.

Сегодня он смотрел особенно пристально, будто хотел

что-то сказать – но не решался. За годы он стал почти живым, частью ее мира. В детстве Вера придумывала ему историю: он упал с небес, разбил крыло и остался здесь, на этом потолке, чтобы охранять ее сны.

На странице дневника осталось лишь пустое поле – белое, как снег в Малом Знаменском переулке.

И – где-то глубоко внутри – не стыд, не злость, а странное, теплое смятение, будто где-то в груди щелкнул замок, о существовании которого она не знала.

Кто они? Почему они смеялись? Почему он протянул руку?

А главное – почему после удара она не хотела плакать – а хотела, чтобы он снова посмотрел на нее – даже если его глаза были такие же чужие, как у всех?

Глава 2

Мальчики стояли в переулке еще несколько минут, будто замороженные внезапно оборвавшимся вихрем. Смех Митьки, вырвавшийся первым – резкий, нервный, защитная реакция на сломанный сценарий, – застыл в воздухе и рассыпался ледяной пылью. На смену пришла тягостная, звонкая тишина, которую нарушал только далекий скрип полозьев.

– Ну и... – Сережа не нашел слова. Он поправил фуражку, вернув ее из лихого набекрень в строгое, почти уставное положение. Этот жест был возвратом к норме, к порядку, к привычной роли благовоспитанного юноши из приличной семьи. – Не ожидал от гимназисточки. Совсем не ожидал.

Митька, рыжий, с лицом, на котором веснушки казались россыпью охры, сжал губы. Его бледные ресницы беспомощно затрепетали.

– Она что, совсем...? С книгами в рожу! Так ведь убить можно.

Он оглянулся туда, где только что мелькнуло ее пальто, и вдруг подумал, что, наверное, переборщил с этим карканьем. Хотел рассмешить Сережку – а вышло... глупо вышло. Мать говорила: «Митя, ты не злой, ты ветреный. Ветер и стекла бьет, не со зла, а по глупости». Он мотнул головой, отгоняя неприятное чувство.

Илья молчал. Он все еще чувствовал, как его рука сама

потянулась вперед – так же, как в Егорьевске, когда маленький Петька, сын дворника, упал с крыльца и рассек губу, и он поднял его, не думая. Не потому что «надо», а потому что тело помнило: боль другого – не зрелище, а сигнал к действию. Там, в Егорьевске, это было естественно, как дыхание.

А здесь, в синем сумраке московского переулка, этот жест оказался инородным телом. Неправильным. Оскорбительным, возможно. И сейчас, под пристальными взглядами приятелей, он чувствовал неловкость – будто его застали за чем-то стыдным.

Но не стыд и не злость были главными. Чувствовал он другое. Ощущение было сродни тому, когда на уроке физики учитель неожиданно ставил опыт, ломающий аксиому из учебника: мир на секунду терял устойчивость, чтобы затем открыться с новой, тревожащей стороны.

В гимназии все было регламентировано негласным уставом. Толкнуть плечом в коридоре – не драка, а «уточнение иерархии». Перебить с ироничной улыбкой – не хамство, а «проверка на прочность». Но драться не дрались – это считалось недостойным гимназиста, признаком уличного мальчишки, а не будущего инженера, врача или правоведа. Даже Митя, самый дерзкий, ограничивался насмешками – потому что директор за драку выгонял, а его отцу, служащему в управе, не простил бы такого позора.

Илья понимал эти правила. Он учился не для блеска в таблице, а потому что знание было ключом к устройству мира.

Физика объясняла, почему лед хрустит под ботинком, естествознание – почему сердце колотится после бега. Он читал Брема не для отметки, а с жадностью первооткрывателя, впитывая логику жизни. Переписывал Лескова – его проза была для Ильи не литературой, а честной речью, языком, на котором мир говорит без прикрас, без фальши.

Учителя уважали его – не за покорность, а за то, что он не зубрил, а понимал. Одноклассники не трогали – не из страха (хотя некоторые, похуже сложенные, побаивались его спокойной, готовой к нагрузке силы), а потому что он не вызывал раздражения: не хвастался, не льстил, не лез в душу. Его даже уважали за эту сдержанную мощь, как уважают исправный паровой котел: ценный, но держать лучше на расстоянии.

По французскому у него были «удовлетворительно» – не от незнания, а от... невозможности.

Учительница, мадемуазель Бланш, худенькая, с вечно испуганными глазами, просила: «*Racontez-moi vos vacances, mon cher Iia*».

Он знал все времена глаголов, мог перевести письмо Вольтера, прочесть страницу из «Отверженных» Гюго, но когда дело доходило до *vacances* – замолкал.

Не потому что не было чего сказать. А потому что «летом я чинил сарай у хозяйки в Егорьевске и таскал мешки с углем на складе купца Петухова» – не то, что ждали услышать. От него ждали: «Мы ездили в имение к тетушке, там был пруд и

лодки» или «В Крыму я купался в море и собирал ракушки». А у него вместо имени – комната на чердаке в доме купца, вместо лодок – мешки.

Он не умел выдумывать. Не умел говорить: «Je me promenais dans les jardins de Moscou», если гулял мимо свалки. Не умел превращать грязь в поэзию – даже для хорошей оценки.

Поэтому говорил коротко, сухо, без интонации. И учительница ставила «удовлетворительно» – не за ошибки, а за отсутствие души.

Хотя душа была. Просто она не умела врать.

Но эта девочка...

Он видел гимназисток много. На благотворительных базарах, в читальнях. Они были как фарфоровые статуэтки: хрупкие, с опущенными ресницами, их голоса – тихий шелест шелка. Даже в споре они извинялись заранее.

А эта – нарушила все каноны. Она ударила. Не закричала, не расплакалась, не бросилась бежать с жалким всхлипом. Она приняла вызов. Ее удар был не истерикой, а четким, почти физическим аргументом. Без слов она сказала: «Мое достоинство – не игрушка для вашего смеха»...

– Приложи и держи снег подольше, – сказал Сережа, – а то в гимназии подумают, ты дрался. А ты же не дрался. Тебя ударили. Это, знаешь ли, совсем другая статья.

Илья кивнул. Драка – это взаимность. А здесь... это был акт воли, направленный в него. Он оказался не участником,

а мишенью. И в этом был странный, унижительный, но честный паритет.

Они разошлись у выхода на Остоженку. Сережа свернул к отцовской лавке на углу Остоженки и Пречистенских ворот – оттуда всегда тянуло запахом кофе и корицы. Митька зашагал вдоль каменных новостроев Пречистенки, где окна еще не успели обрасти паутиной. А Илья пошел к Гагаринскому переулку, где снимал комнату у Анны Васильевны Козловой, преподавательницы русской словесности в женской гимназии.

Комната его была кельей отшельника или каютой корабля. Четыре шага в длину, три в ширину. Узкая железная кровать, застеленная строго, по-солдатски. Над ней – полка, его главное богатство: учебник Гано по физике (корешок перетерт от частого листания), Сеченов по физиологии труда и Тимирязев по физиологии растений, первый том Брема (старое издание, остальные брал в библиотеке, не на что было купить). И ядро – Толстой, Достоевский, потрепанный Чернышевский, Лесков. Книги не для развлечения, а для опоры. Они не давали миру рассыпаться на бессмысленные случайности.

Тетради, перевязанные бечевкой, лежали ровной стопкой. Стол, стул, вешалка. Печка-голландка дышала ровным, скудным теплом – горничная хозяйки уже затопила.

Илья снял шинель – темно-синюю, с серебристыми пуговицами, тщательно вычищенную, но с легким блеском на

локтях и воротнике. Куплена была с чужих плеч, на Сухаревке, еще в прошлом году. Тогда, в пятнадцать, она висела на нем свободно, с запасом в плечах и рукавах – мать ушила в талии, подогнала, как могла. А сейчас, через год, он будто дорос до нее: плечи почти заполнили положенный простор, рукава – в самый раз, только в талии осталась та самая ушив-ка, напоминавшая, что вещь не с его плеча началась. Если не перерастет себя к выпуску – дотянет. Пока, слава богу, хватало. Не бедность – порядочность: вещь носится, пока слу-жит.

Он машинально поправил стоячий воротник рубашки – не из щегольства, а из ритуала самоуважения. В этом доме, у Анны Васильевны, ценили только тех, кто держал форму.

Он умылся у своего умывальника – медный кувшин с теплой водой стоял на подставке, принесенный горничной, – и только потом прошел в столовую. Там уже горела висячая лампа под жестяным абажуром, и длинный стол, покрытый клеенкой с выцветшим узором из роз, был накрыт к ужину. Анна Васильевна, сухая, прямая, с седыми волосами, убранными в строгую прическу, разливала суп из супницы. Рядом на блюде лежали ломти черного хлеба.

За столом уже сидели двое: Гриша, сын мелкого сенатско-го чиновника, и Петенька, у которого мать шила платья для тех, «у кого дача в Финляндии». Анна Васильевна налила сначала Грише, потом Петеньке, потом – Илье. Это был не акт унижения, а естественный порядок мироздания, как сме-

на времен года. Сначала – свои, потом – пришлые.

Илья принимал это без ропота. Он ел, не глядя в глаза, и не просил добавки, даже если еще был голоден. Его организм, привыкший к скудной, но калорийной пище в Егорьевске – черному хлебу, рыбным похлебкам, картофелю, салу, – тихо бунтовал против московских жидких щей и каш. Но он заставлял его молчать. Дисциплина тела была первой дисциплиной, которой он научился. Она же, эта видимая сдержанность и мощь, делала его в глазах Анны Васильевны «порядочным», хоть и не своим до конца. Она видела, что этот мальчик не развалится, не распустится, выдержит. И в этом была его ценность и его проклятие – быть вечно «крепким элементом» в чужой игре.

За столом заговорили о даче. Гриша рассказывал, как отец привез оттуда ягоды, которые «не кислые, а с хвойным привкусом».

Илья промолчал. Он мог бы сказать: «Это брусника», – он читал описание. Но слова без опыта – пустые. А в этом доме пустые звуки ценились меньше, чем честное молчание. Он выучил этот кодекс за первый же месяц, как таблицу логарифмов.

Когда он приехал в Москву тринадцатилетним, после смерти отца-приказчика, оставив мать горничной в егорьевском доме, он знал только законы выживания:

- «Не знаешь – молчи, чтобы не выдать невежества».
- «Бьют – терпи, слезы только раззадорят».

– «Дают – хватай быстро, пока не передумали».

Но Москва оказалась сложнее. Здесь не били по лицу – били по самолюбию. Не кричали – смотрели оценивающе и отводили взгляд. Не отталкивали – просто не замечали. Молчание здесь было страшнее брани.

В гимназию его пристроили хозяева матери, те самые, у которых она служила. Они же и платили за учение – исправно, но с оговоркой: «Мы верим, что мальчик оправдает». В этих словах Илья услышал не надежду, а условие. Он был не стипендиатом, не сиротой, за которого ходатайствует благотворительное общество. Он был чьим-то проектом. Вложением, которое должно дать проценты.

Мать говорила: «Повезло нам». А он думал: повезло – значит, могут и разлюбить, если окажешься неудобным, неблагодарным, бесперспективным. Поэтому он учился так, словно от этого зависело все. Собственно, так и было.

Первые недели в гимназии он ошибался:

– Вежливо поблагодарил за двойку – учитель усмехнулся: «Вы издеваетесь, господин Арсеньев?»;

– На благотворительном вечере ушел, не дождавшись выхода начальника, – и услышал за спиной: «Провинциал. Не воспитан»;

– Назвал «вы» одноклассника – и Паша фыркнул: «Мы же не в театре, где вы, месье, подаете пальто?»

Но Илья не обижался. Он наблюдал и классифицировал, как натуралист новый вид:

– Наклон головы Гриши при встрече с инспектором – не поклон, а микроскопический жест признания статуса.

– «Простите» Сережи – не извинение, а социальная смазка, знак уважения к чужому пространству.

– Как Анатолий Павлович кладет его тетрадь не в середину стопки, а аккуратно сверху – не одобрение, но и не пренебрежение.

Он не стремился «влиться». Он стремился не создавать диссонанса. И если быть «своим» означало соблюдать эти тихие правила без лицемерия, он принимал эти условия.

Но внутри, в глубине, всегда оставался наблюдателем. Тем, кто смотрит на игру со стороны, понимает ее правила, но никогда не станет в ней своим до конца. Потому что свои рождаются в этой игре, а он – выучил ее как иностранный язык. Свободно говорит, но с акцентом, который другим не слышен, но он сам его слышит всегда.

После ужина он поблагодарил, помог отнести посуду – это было естественно, он всегда помогал, и Анна Васильевна принимала это как должное, без лишних слов.

Вернувшись в комнату, он зажег керосиновую лампу. Пламя разгорелось не сразу, пришлось подождать, пока фитиль пропитается. Наконец ровный желтоватый свет залил стол. Илья раскрыл тетрадь для конспектов по ботанике. Латинские названия растений плясали перед глазами, не складываясь в смысл.

Перед внутренним взором стояла она.

Не как объект для романтических фантазий – он вообще не позволял себе такой роскоши. Не как «несчастливая жертва», которой нужно посочувствовать. Не как «возможное знакомство», о котором мечтают его одноклассники.

Она была фактом. Аномалией. Научным наблюдением, не укладывающимся в классификацию. Девочка с черными, раскиданными по снегу косами. Глаза – не со слезами унижения, а с ясным, холодным огнем сопротивления. Она не закричала. Не сжалась. Она нанесла ответный удар.

Он думал не «какая смелая», а «какая честная». Она не подчинилась правилам. Не вписалась в его классификацию. И в этом – вся невозможность объяснить ее привычными схемами мира, который он изучил, разобрал на части и принял как данность.

Он вспомнил, как снежинки на ее ресницах искрились в свете фонаря, как микроскопические алмазы. Как она поднялась – не по-девичьи, а всей своей упрямой, маленькой, худощавой фигурой, с достоинством, которого не ждешь от упавшего в сугроб. Как губы ее не всхлипывали, а были плотно сжаты – плотина для ярости.

Он коснулся щеки. Не больно. Но... ощутимо. Синяка еще не было, только легкое, тлеющее тепло, будто место касания запомнило не боль, а сам акт – резкий, личный, настоящий. Впервые за долгое время до него дотронулись не по обязанности, не случайно в толпе, а намеренно. Пусть и с негативным посылом. Это было контактом.

Он закрыл тетрадь, не написав ни строчки. Лег на кровать, заложив руки за голову, уставился в знакомую трещину на потолке – она была похожа на изгиб реки Цны на карте.

Осенью его, как одного из самых видных и физически безупречных, а главное – безотказно надежных, пригласили на благотворительный вечер в женскую гимназию. Учителя, выбирая его, кивали: «Арсеньев не подведет. Не наклюкается пунша, не скажет глупостей, донесет до кареты, если что». Он был для них социально безопасным носителем силы, таким ручным исполином, обученным хорошим манерам.

Девочка в белом, с бантом цвета василька, говорила заученные комплименты: «Вы так уверенно ведете!» Она не понимала, что эта уверенность – из другого мира, где нужно уверенно держать топор или носилки, а не дамскую руку в лайковой перчатке. Он вежливо улыбался, чувствуя себя живой декорацией в ее выхолощенном спектакле. Ее лицо стерлось из памяти, едва он вышел за порог.

А эту – не мог стереть.

Она не улыбалась. Не знала его имени. Видела только руку, которую сочла за насмешку или покровительство. И все же... в нем что-то сдвинулось с мертвой точки. То, что он считал монолитом своей одинокой, самодостаточной системы, дало трещину. И сквозь нее пробился свет – тревожный, живой, теплый.

Он припомнил: кажется, видел ее однажды в читальне Румянцева музея. Незадолго до каникул. Она сидела в углу

у окна, отгородившись стопкой книг от подруг, которые перешептывались и хихикали. Держала томик не как учебник, а как щит и как окно одновременно – вчитывалась, хмурила брови, шевелила губами. Он подумал тогда мельком: «Одна из многих. Читает». Теперь он понимал: она не просто читала. Она впитывала. Искала ответы. И сегодня дала свой ответ – уголком той самой книги.

Рассказать Сереже? Нет. Некоторые переживания теряют свою стерильную чистоту, будучи облеченными в грубую ткань слов. Это было его. Только его.

Он долго ворочался на узкой кровати. За окном, за двойными рамами, изредка доносился отдаленный гул с Пречистенки, где-то лаяла собака, потом все стихло. А в голове, отбивая ритм пульса, стучал один-единственный, простой и неразрешимый вопрос:

Кто ты?

И впервые за многие годы одиночества, сознательного и принятого как единственно возможный способ жить, мелькнула крамольная мысль: а что, если быть не одному – не признак слабости и не зависимость? Что, если это может быть молчаливым признанием: «Твой странный код – возможно, не только твой. И, возможно, его стоит расшифровать вместе»?

Но он тут же отогнал эту мысль, как непозволительную роскошь. Он не позволял себе мечтать. Мечты – для тех, у кого есть на них право. А у него есть только учеба, работа и

необходимость держаться.

Он просто закрыл глаза. И за веками, вместо темноты, встала картина: черные косы на белом снегу, как два вопросительных знака, брошенные ему в лицо судьбой.

Глава 3

Учебные дни возобновились, ввергая в давно знакомый, размеренный водоворот: дребезжащий звонок, скрип мела по грифельной доске, едкий запах чернил, въедающихся в кожу на кончиках пальцев. И неизменное, как закон природы, замечание классной дамы, Марии Павловны: «Госпожа Лагодина, ваши волосы – не цыганский хоровод! Уберите, наконец, эту вольницу!»

Вера заплетала косы так туго, что кожа на висках натягивалась. Но упрямые волосы, тяжелые и живые, отрицали дисциплину. У самого затылка, под крахмальным воротничком, всегда выбивалась одна черная, выющаяся прядка – символ непокорности, маленький бунт против гладкой прилизанности. Она убирала ее механически. Не из послушания – чтобы избавиться от звука, от этого голоса, превращавшего ее часть в недостаток.

Ей было не по себе. Не от уроков – от того, что осталось за порогом гимназии. От осадка переулка, который она носила в себе, как спрятанный камешек в ботинке. Иногда, на скучном уроке, она ловила себя на том, что прокручивает в памяти тот удар – глухой стук книги о скулу, – и морщилась, будто от собственной глупости.

Малый Знаменский переулок она обходила кружным путем: шла от библиотеки по Волхонке, вдоль белой громады

храма Христа Спасителя, чей золотой купол в сумерках казался тяжелым и тусклым, как старинная монета. У храма всегда было людно, даже в мороз: извозчики перекликались охрипшими голосами, предлагая сани; мастера, попыхивая сигарками, торопились к Пречистенским воротам; дамы в длинных шубах, придерживая муфты, выходили из экипажей. Гулкий, раскатистый звон колоколов уплывал в морозное небо, смешиваясь со скрипом полозьев и далеким лаем собак. Вера скользила взглядом по чужим лицам, но ни одно не останавливало внимания – все были частью безопасной, привычной декорации.

Она сворачивала в короткий и тихий 3-й Ильинский, где фонари горели реже, а снег лежал нетронутым, как белая бумага. Здесь даже шаги звучали иначе – глухо и мягко, словно переулочек сам просил не нарушать его покой. Вера миновала два старых особняка, прячущихся за высокими заборами, церковь, и выходила к пересечению со 2-м Ильинским. Жизнь в нем ощущалась явственнее: в неглубоких дворах виднелись покосившиеся сараи, из-за неплотно прикрытых форточек тянуло запахом кислых щей и печного дыма. У одного из подъездов часто сидел, нахохлившись, рыжий дворовый кот – в особенно лютые морозы он, впрочем, исчезал в подвале, где грелся у теплой кирпичной кладки дымохода. Вера иногда кивала ему, как старому знакомому, если застала на обычном месте. На ее родной улице все было просто, обжито и не таило в себе угрозы.

Этот путь был на несколько минут дольше, но здесь не подстерегала память о той стычке – только умиротворяющая анонимность большого города.

Но в тот день, выходя из библиотеки с новым томом Дойля в сумке, она вдруг ощутила эту осторожность как личное поражение. «Я не позволю им сделать из меня труса», – сказала она себе твердо, почти вслух. И свернула в знакомый проход.

На середине улицы, у того самого газового фонаря, стекло которого заиндевело и было мутным, словно слепой глаз, она подняла голову – и замерла.

Перед ней стоял он.

Сердце пропустило удар – и забилося где-то в горле, мешая дышать. Она стиснула зубы, приказывая себе успокоиться.

Первое, что она осознала, – это необходимость запрокинуть голову. Не просто поднять взгляд, а изменить привычную, удобную ось мира. От этого легкое напряжение пробежало по задней поверхности шеи. Она всегда была невысокой – «компактной», как с грустью шутила мать, перешивая на Веру свои платья. Рядом с подругами она этого почти не замечала. Но сейчас, вплотную, разница ощущалась всем телом: он был не просто высоким, а выше любого знакомого ей мальчишки. Его плечо заслоняло ветку дерева на той стороне переулка. Чтобы увидеть его лицо целиком, ей пришлось отступить на полшага – иначе взгляд упирался в

складку мундира на груди. Его рост был не долговязым, а плотным, собранным, как ствол молодой сосны. Широкие плечи под темно-синей шинелью, сидевшей как влитая, создавали ощущение непреодолимой физической массы, тихой, сдержанной силы, которая даже в неподвижности давила на воздух вокруг.

Фуражку он держал в руке, и этот жест – неприкрытая голова – казался знаком уязвимости. На левой скуле, чуть ниже глаза, цвело желто-зеленое пятно – уже блеклое, но отчетливое, немой свидетель их первой встречи. Она скользнула взглядом по синяку и тут же отвела глаза. Почему-то смотреть на него было неловко – словно она подглядывала что-то, не предназначенное для чужих. Вера инстинктивно выпрямила спину, втянула воздух, будто готовясь к нагрузке, ощущая, как ее собственная худощавая, невысокая фигура на его фоне кажется почти детской. Это раздражало и мобилизовывало одновременно.

Узнавание было мгновенным и полным, как удар тока.

Вера похолодела внутри, но лицо осталось невозмутимым. Повернуть назад сейчас – значило бы проявить слабость, признать его власть не только над пространством, но и над этой новой, неудобной физической осознанностью. А она уже раз доказала, что не намерена этого делать.

Он нарушил тишину первым. Его голос был тихим, ровным, лишенным иронии или подобострастия.

– Прошу вас... пока не бить. Синяк еще не прошел.

Она не улыбнулась. Внутри что-то неприятно сжалось. Ее взгляд, изумрудно-холодный, встретился с его – серым, внимательным. Она вдруг отметила, что глаза у него вовсе не холодные, как ей показалось в первый раз, а скорее... изучающие. Словно он читал не лицо, а какую-то сложную формулу.

– Вы сами виноваты, – отрезала она, и в голосе прозвучала не детская обида, а судья, выносящий приговор. – Не водитесь с кем попало. Компания определяет человека.

Он не стал оправдывать друзей. Не стал отрицать.

– Тот, что смеялся, – Митя Ветров. Он у нас в классе. У него... потребность быть первым в глупости. – Он сделал небольшую паузу, подбирая слова. – А второй – Сережа Аросимов. С ним мы иногда идем вместе. Не дружим – просто дорога совпадает.

Она кивнула, приняв объяснение как факт, не требующий дальнейшего обсуждения. Ее вопрос исчерпал себя.

– Мы не собирались вас задевать, – добавил он после паузы. Говорил негромко, словно проверял каждое слово. – Просто... вы так упали. Снег на волосах, шапочка слетела... Сережа ляпнул про Белоснежку, и понеслось. Глупо вышло.

– Глупо? – Вера подняла бровь. – Я бы сказала иначе.

– Можете сказать как есть, – он не отвел взгляда. – Я не спорю. – И, помедлив, добавил: – Мне жаль, что так вышло. Правда.

Вера ничего не ответила, но ее плечи чуть расслабились

– почти незаметно.

Неловкая пауза повисла между ними, наполненная внешними звуками: ветер шелестел обледеневшей веткой, за стеной глухо лаяла собака, из открытого окна доходного дома лилась бесконечная, монотонная гамма – чья-то ежедневная мука. Обыденность подчеркивала странность их разговора.

– Меня зовут Илья, – сказал он наконец. – Илья Арсеньев. Седьмой класс, первая мужская гимназия.

Он держал фуражку не просто в руке, а прижатой к груди, чуть левее сердца – жест одновременно защитный и представляющийся. И лишь произнеся свое имя, опустил руку, словно сдал оружие.

– Вера Лагодина, – ответила она, не протягивая руки. – Седьмой, четвертая женская.

Сказала – и тут же почувствовала, как неуместно, по-дурачки это звучит. Словно они на светском рауте, а не в тихом переулке, где она ему же недавно скулу своротила.захотелось немедленно провалиться сквозь снег, но она лишь крепче сжала сумку.

Он спокойно кивнул, и в этом кивке было признание равенства: оба седьмые, оба – из тех, кому приходится держать спину прямой, чтобы не согнуться под взглядами.

– Вы тогда книги несли, – заметил он, и в его голосе прозвучала легкая, почти профессиональная заинтересованность. – «Записки охотника» были сверху. Видел обложку.

Она удивилась, и это удивление на миг смягчило ее лицо:

– Вы запомнили?

– Я караулил этот том в читальне месяц. Каждый вторник заходил проверять: моя фамилия все не поднималась. В итоге нашел у букиниста у Сухаревой башни.

– А вы что читаете? – вопрос прозвучал не как вежливость, а как естественный поворот беседы двух людей, для которых книги – воздух.

– Лескова. И Дюма.

– «Три мушкетера»?

– Да. А «Графа Монте-Кристо» – читаю у Сережи. Отец у него держит лавку колониальных товаров, но книги собирает – с уважением к умственному труду, как он говорит.

– Я его прочла в прошлом году, – сказала Вера, и в голосе ее впервые прозвучала нота живого интереса. – Теперь Дойля читаю.

– Завидую, – просто сказал Илья. – У нас в гимназии говорят: «Детектив – для слабых умов, не способных к логической стройности». Физика и математика – вот что нужно современному человеку.

– Какие предметы вам нравятся? – переспросила она, возвращаясь к безопасной, школьной почве.

– Физика. Естествознание люблю читать, хоть в программе его уже нет. А вам?

– История. И словесность. Языки даются легче.

– У нас – наоборот, – он чуть усмехнулся. – Современные языки факультатив, а древние в основу. Латынь с греческим.

Мука, конечно, но без них в университет не возьмут. Особенно если в медики метишь.

– Вы в медицинский хотите?

– Думаю. Или в Высшее техническое. Там, говорят, дело, а не слова. Можно что-то построить или починить.

– А у нас теперь женские курсы снова открылись, – сказала она, и в ее голосе прозвучала сдержанная горечь. – Говорят, у Пречистенки арендовали помещение.

– Слышал, – кивнул Илья.

– Да. Мама говорит: «Пусть сначала гимназию кончит. А там видно будет».

В этих словах была целая вселенная женской судьбы: «видно будет» означало замужество, необходимость, случай.

Он кивнул снова, но теперь в его молчании читалось не отсутствие мыслей, а понимание этой вселенной, ее законов и границ. Он ничего не добавил – пустых утешений он, как и она, не выносил.

Мимо них, позванивая сбивчивым, дребезжащим колокольчиком, проехали розвальни, груженные матовыми глыбами льда для ледников богатых домов. Холодный товар для сохранения чужого изобилия.

Они дошли до выхода переулка на Волхонку. Здесь улица была шире, шумнее, и ветер пробирал сильнее – рвал полы пальто, бросал в лицо колючую снежную крупку. Мимо, дребезжа, проехала пролетка; у храма Христа Спасителя, чей громадный купол едва угадывался в сгустившейся тем-

ноте, редкие прохожие торопливо крестились и спешили к домам. Идти рядом в молчании стало неловко, и они заговорили снова – короткими, отрывистыми фразами, с паузами, которые не были неловкими, а скорее вдумчивыми. О том, как учитель географии путает Африку с Австралией. Как в женской гимназии циркуляром запретили носить ленты шире полувершка – «во избежание тщеславных помыслов». Как в мужской за двойку по Закону Божию оставляют без большого перерыва, заставляя переписывать псалмы.

Он, говоря, слегка наклонил голову набок, будто стараясь быть на одном уровне с ее взглядом. Она же, в пылу рассказа о глупом циркуляре про ленты, на шаг отступила к тротуару – не от страха, а просто чтобы не задирать голову так сильно. Его близость оказалась неожиданно... требовательной к шее.

Обычные школьные жалобы, превращенные в валюту этого странного перемирия. Они обменивались ими без улыбок, без фамильярности, с серьезностью дипломатов, обсуждающих государственные договоры. Каждое слово, каждый кивок словно устанавливал новую статью в негласном соглашении: «мы не враги», «мы можем говорить», «мы слушаем».

Они вышли к Пречистенским воротам. Здесь, у сквера, где летом зеленели липы, а сейчас чернели голые ветви и сиротливо темнела пустая скамейка, их пути наконец разошлись. Остоженка убегала влево и вправо, разводя их по разным сторонам московской жизни.

– Мне налево, – сказала Вера, указывая подбородком в

сторону 2-го Ильинского.

– А мне – направо, – отозвался Илья, кивая в сторону Гагаринского.

Он на мгновение задержался, как бы давая ей первой выбрать направление и отойти. Не рыцарский жест, а просто учет того, что его шаг длиннее, и ему нужно время, чтобы не догнать ее случайно на той же стороне улицы.

– Ну... прощайте.

– Прощайте.

Они разошлись, не обернувшись. Никаких сентиментальных взглядов, никаких обещаний встретиться. Ритуал был завершен.

Вера шла домой, и ее мысли были ясны и практичны: «Он не злится. Он даже объяснился. Значит, я не совершила непоправимого. Я восстановила статус-кво». Этого – восстановления справедливости, а не романа – ей и было достаточно. Где-то на краю сознания вертелась мысль, что статус-кво не предполагает, что ты знаешь имя человека и какие книги он читает. Но эту мысль она решительно отодвинула в сторону.

Илья же, шагая по мерзлой мостовой, думал не о синяке, а о том, как она стояла перед ним – прямая, с высоко поднятым подбородком, с сумкой, прижатой к груди как щит. Ее книги были для нее не грузом, а арсеналом. И в этом он увидел родственную душу.

На душе у обоих было не радостно, а спокойно. Как после

тяжелого, но честно выполненного труда.

В большой комнате пахло скипидаром и льняным маслом – мать, склонившись у окна, протирала фланелью старую, еще отцовскую шкатулку. Дерево, потемневшее от времени, неохотно отдавало грязь, но под тряпкой проступал благородный ореховый отлив.

– Явилась, путешественница. – В голосе не было упрека, только усталая констатация факта. – А я уж думала, ты до ночи по своим читальням. Ужин на столе, накрыт полотенцем. Будешь – разогрей на керосинке.

Вера кивнула, пристраивая пальто на крючок. Мимходом отметила: мать сегодня в старом, но любимом платье цвета бутылочного стекла, с глухим воротом – не для выкроек, для себя. Значит, день был полегче.

– Как в гимназии? – спросила Лидия Григорьевна, не обращившись. – Мадемуазель Дюпон не донимала?

– Обычно. Диктант писала. Все хорошо.

Мать удовлетворенно кивнула, возвращаясь к шкатулке. Ее пальцы, все еще красивые, с аккуратными ногтями, двигались неторопливо и точно.

Вечером, сидя за своим столом под матовым светом лампы, Вера открыла дневник. Сначала проверила перо – не расщепилось ли, – обмакнула в чернила, стряхнула лишнюю каплю о горлышко. Перо заскрипело по бумаге.

«18 января. Мария Павловна задала наизусть спор Базарова и Павла Петровича. Надя плакала в уборной – не вы-

учила. Мама купила новые перчатки, шерстяные – прочнее и теплее. В библиотеке наконец вернули "Знак четырех". Переулочек больше не страшен. Пройден. И хорошо. Так и должно быть».

Про него – ни единого слова. Он не стал событием дня, не стал тайной. Он стал фактом, вписанным в ландшафт. Как дерево или фонарь. Встреча не открыла новую главу, а аккуратно закрыла старую, зашила прореху в ткани ее уверенности. И все же, засыпая, она поймала себя на том, что прокручивает в памяти не удар и не падение, а его голос, когда он сказал: «Мне жаль, что так вышло».

Странно. Из всего этого дня – дня, который она уже мысленно подшила в папку «закрыто», – именно это вспоминалось ярче всего.

Она раздраженно перевернулась на другой бок. «Глупости. Он просто извинился. Этого и хотела».

Но где-то под сердцем, в том самом месте, где сегодня щелкнул невидимый замок, уже поселилось смутное, беспокойное предчувствие. Что статус-кво – не то, чего она хочет. И что переулок, возможно, вовсе не пройден.

В десяти минутах ходьбы, в Гагаринском переулке Илья тоже не стал делать записей в своей основной тетради – той, где вел учет расходов и переписывал цитаты из Лескова. Но он взял черновик, листок с недельной давности, где корявым, раздраженным почерком было выведено:

«Москва – город, где все играют чужие роли. Настоящих

– нет. Один сплошной театр».

Он провел ровную, решительную черту через эту строку. А на узком поле, мелким, графически четким почерком, добавил:

«Ошибался. Есть. По крайней мере, одна. И, возможно, это меняет уравнение».

Перо замерло над бумагой.

Он вдруг понял, что уравнение стало не проще, а на порядок сложнее. Неизвестных в нем прибавилось. И главная из них – девочка с книгами, которая сначала ударила его, а потом говорила с ним так, будто они стоят не в заметенном переулке, а в университетской аудитории. Которая не улыбалась, не кокетничала, не опускала глаза. Которая смотрела на его синяк с таким видом, будто это она поставила печать на каком-то важном документе.

Потом погасил керосинку. В комнате запахло гарью и холодом. Лежа на узкой кровати, он слушал, как за тонкой стеной соседка, служанка из кондитерской, напевала под нос новомодный романс «Я ехала домой». Над Москвой стояла густая, зимняя темнота, вбирающая в себя все звуки. Звезды в разрыве между крышами горели яростно, как точки над «і» в только что поставленной фразе. Точки, завершающие мысль, но не историю.

Глава 4

В ближайшее воскресенье снег прекратился утром, оставив после себя мир, затянутый хрустальным стеклом. На деревьях держалась изморозь, и от каждого порыва ветра с веток срывались маленькие снежные тучки – не просто перья, а целые миры хрупкого холода, рассыпающиеся при малейшем движении.

Вера вышла из дому позже обычного – мама, торопясь на урок к дочери фабриканта, забыла отдать ей заказанную неделю назад книгу. Пришлось возвращаться, теряя драгоценные минуты. Теперь она шла быстрее, но не бежала – в библиотеке спешка неуместна, там царствует вечность, записанная в каталогах.

Дорога к Румянцевскому музею лежала мимо стройки Музея изящных искусств, и на углу Волхонки и Малого Знаменского переуллка она привычно замедлила шаг у знакомого ларька с чаем и бубличками, от которого валил густой, аппетитный пар, смешиваясь с запахом дыма и свежееиспеченного теста. И именно там она их увидела.

Илья стоял с другим – тем самым светловолосым, чей голос тогда звенел фальшивой театральностью. Теперь он выглядел иначе: фуражка, лихо сдвинутая набекрень, но взгляд – прямой, открытый, без тени той злой бравады. Они только что расплатились, и ларечник, старик с обмороженными

щеками, заворачивал два бублика в чистый, еще пахнущий типографской краской листок «Московских ведомостей».

Сережа что-то говорил, жестикулируя, и Илья слушал, его лицо освещала не улыбка, а легкая, сдержанная усмешка – как у человека, который понимает шутку, но не считает нужным смеяться вслух.

Вера на мгновение замедлила шаг. Инстинкт велел пройти незаметно, сохранив хрупкое равновесие, достигнутое в прошлую встречу. Но Сережа, словно уловив ее присутствие краем глаза, обернулся. Его взгляд не стал оценивающим или насмешливым – он стал узнающим.

– Здравствуйте! – сказал он, и в его голосе не было ни капли неуверенности, только легкая, почти дружеская искренность. – Вы же... из женской гимназии? Та самая, с книгами?

Она остановилась. Притвориться, что не слышала, было бы глупо и трусливо.

– Да.

– Мы с Ильей тут согреваемся, – сказал он, протягивая ей один из свертков и держа так, чтобы ей было удобно взять. – Позвольте угостить? В этом ларьке – лучшие бублики от Пречистенки до Арбата. Прямо из печи, еще шипят.

Он говорил не как соблазнитель, а как щедрый хозяин, делящийся простым, но честным благом. В его тоне не было намека на ту прошлую сцену, будто ее и не было.

Илья молча кивнул в подтверждение, держа уже свой бублик. Он не смотрел на нее пристально – его взгляд был на-

правлен куда-то поверх ее плеча, давая ей пространство, не давя вниманием.

– Спасибо, – сказала Вера, принимая сверток осторожно, за самый уголок. Газета была теплой, почти горячей – она почувствовала это даже сквозь шерстяную перчатку, и от неожиданного жара пальцы сами сжались крепче.

– Сергей Аросимов, можно просто Сережа, – представился он с легким, почти неуловимым поклоном. – Седьмой класс, первая мужская. Вы, кажется, с моим товарищем уже... обменялись мнениями о современной литературе? – он сказал это так легко, с такой безобидной улыбкой, что сама ситуация теряла свою остроту, превращалась почти в анекдот.

Она на миг замешкалась. Не потому что смутилась, а потому что оценила искусность этого хода. Он не отрицал, не извинялся – он переводил все в плоскость почти интеллектуального диалога.

– Вера Лагодина, – ответила она. – Седьмой, четвертая женская на Садовой-Кудринской.

– Вера Павловна? – спросил он с легкой театральной интонацией, и в его глазах мелькнул озорной огонек.

«Чернышевского? – молнией пронеслось в ее голове. – Он проверяет? Или это просто совпадение?»

Но задавать вопрос – значило вступить в его игру на его условиях. Она не стала.

– Петровна, – поправила она ровно, без вызова.

– Еще лучше, – сказал он, и его улыбка стала чуть шире, но уже без подтекста. – Значит, вы – настоящая. Не книжная.

Они свернули в переулок. Сережа, отступив на полшага, жестом пригласил ее идти первой, но тут же сам возглавил маленькую колонну, оказавшись посередине. Так сложилось само собой: он в центре, они с Ильей – по флангам. Идти пришлось не в ряд, а почти треугольником, и Вера, оказавшись справа от Сережи, снова ощутила непривычную пространственную динамику. Ее шаг был мельче, и чтобы не отстать, ей приходилось учащать шаг; их же длинные ноги мерно отмеряли снежную дистанцию. Она не чувствовала себя зажатой, но очень остро – другой. Казалось, если она остановится, они даже не заметят – просто продолжат идти своим чередом, а она останется сбоку, как придорожный камень, который путники обходят, не сбавляя шага.

Бублик был действительно превосходным: хрустящая, золотистая корочка, мягкая, воздушная мякоть внутри. Он пах не просто дрожжами, а теплом печи, тяжелым трудом пекаря и простым человеческим счастьем от маленького ежедневного чуда.

Вера ела медленно, с достоинством, держа сверток в перчатке – чтобы не обжечь пальцы и не оставить масляных следов на бережно содержимом пальто. Ощущение было странным: с одной стороны, физическая защищенность – два высоких тела принимали на себя порывы ветра, доносившегося со стороны Большого Знаменского. С другой – полная, по-

что лабораторная ясность: она здесь иная. Не хуже. Не слабее. Просто построенная иначе, по другому масштабу. И в этом «иначе» вдруг не было прежней горечи, только любопытство.

– Вы Дойля уже одолели? – спросил Сережа, откусывая с характерным хрустом. – Или еще бороздите морские глубины с капитаном Немо?

– «Знак четырех» – великолепен, – ответила Вера, и в ее голосе впервые прозвучали нотки живого энтузиазма. – Логика, атмосфера... А вы?

– Я – поклонник Жюль Верна. Особенно «Путешествия к центру Земли». Там и геология на пальцах объяснена, и приключения, и даже мегалозавры! Настоящая наука в приключенческом флаконе!

Илья, до сих пор молчавший, тихо вставил:

– Там, кажется, ихтиозавр с плезиозавром бились. Но зрелище и правда захватывающее.

– Вот! – Сережа поднял палец, ничуть не смутившись. – А это значит, что оба моих любимых романа слились в голове в одну грандиозную битву. Мегалозавры, плезиозавры – все дерутся, все хороши!

Вера чуть улыбнулась. Его болтовня была не пустой, а наполненной искренней увлеченностью. Она не снимала напряжения – она растворяла его, как сахарные куски в горячем чае.

– А у нас в гимназии, – продолжил он, – учитель истории

как-то заявил, что Верн – вреден для воображения. Представляете? За научную фантастику!

– А у нас, – отозвалась Вера, – хотят запретить «Анну Каренину». Говорят – слишком откровенно, слишком... взросло.

– О, это уже перебор! – воскликнул Сережа с комическим ужасом. – Тогда и Пушкина под запрет! «Я помню чудное мгновенье»... – разве это не подрывает основы? Не будоражит кровь?

Они дошли до Знаменки, где дороги их расходились. Величественный Пашков дом уже виднелся впереди.

– Ну что ж, – сказал Сережа с преувеличенной серьезностью, – мы вас здесь оставим. А то, не ровен час, классная дама увидит – подумает, мы вас соблазняем вольнодумством и бубликами.

Илья, стоявший с невозмутимым лицом, молча толкнул его локтем в бок.

– А что? – не унимался Сережа, делая вид, что не понял намека. – Все по строгим правилам: чай (в лице бублика) предложили, книг не тронули, до подъезда не проводили. Даже цветов не преподнесли! Чистая платоническая прогулка втроем.

Губы Веры дрогнули. Она быстро опустила глаза, слегка прикрыв рот краем перчатки – не от стыда, а чтобы скрыть неожиданно прорвавшуюся улыбку. Это был смех, которого она сама от себя не ждала. «Озорник, – подумала она. – Но

умный озорник. Без злобы».

– Прощайте, – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно и сдержанно, как и подобает достойной девушке.

– До встречи, Вера Петровна, – кивнул Сережа, и в его поклоне теперь была не шутовская, а искренняя, уважительная теплота.

Илья лишь молча кивнул ей, но на долю секунды задержал взгляд – не на лице, а на ее руке, все еще прижимавшей к груди остатки бублика. Словно хотел убедиться, что она согрелась. А может, просто запоминал. И в его серых глазах она уловила что-то вроде тихого одобрения – не ей, а всей этой странной, нелепой, но неожиданно правильной ситуации.

Они повернули и пошли в противоположную сторону.

Вера вошла в прохладную, торжественную тишину библиотеки – и после гула улицы, после смеха Сережи и собственного пульса в ушах тишина показалась густой, как вода. Она обняла плечи, как старая шаль. На душе было тепло и спокойно. Не от чая и бублика, а от того, что мир, оказавшийся таким жестоким и несправедливым в тот первый вечер, теперь показал другую свою грань: он мог быть и нежным, и ироничным, и простым. Он мог вмещать в себя не только насмешку, но и этот странный, немой диалог, где двое молчат, а третий говорит за всех – и это не кажется обидным.

А вечером, открыв дневник, она не сразу начала писать. Сначала просто держала перо над страницей, чувствуя, как чернила медленно стекают к кончику. Одна капля сорвалась

и упала на промокашку – расплылась черной звездой. Вера убрала её и вывела, не торопясь, не о погоде и не о уроках:

«20 января. Сережа Аросимов умеет говорить так, что молчание других не кажется отказом, а становится частью разговора. Он делает пространство вокруг себя безопасным для тишины».

Про Илью – снова ни слова. Но на этот раз это молчание было иным. С Сережей было просто – так просто, что хотелось смеяться и есть бублики, и не думать о том, что твой смех звучит слишком громко. А с Ильей... С ним было иначе. Рядом с ним даже молчать казалось поступком. И это пугало. Поэтому она не написала о нем ничего. Не потому что забыла. А потому что пока не знала, какими словами говорить о том, для чего еще не придумано названия.

Она закрыла дневник и задула лампу. Он стал фоном. Но фоном живым, необходимым и, как ни странно, – знакомым.

Глава 5

После той встречи они виделись не часто. Не было ни договоренностей, ни ожиданий. Их пути пересекались с редкой, почти математической случайностью, как орбиты разных планет. Иногда – на ступенях библиотеки, когда сумерки уже сгущались и тень Пашкова дома ложилась на снег длинным синим клинком. Иногда – у того самого чайного ларька на углу, где пахло жженым сахаром и дрожжами. Бывало, проходила неделя, отмеченная только уроками, домашними делами и бедностью, – и они не встречались вовсе.

Но когда встречались – не делали вид, что не заметили. Не отводили глаз. Просто кивали, и этого кивка было достаточно, чтобы остановиться.

Встреча не была событием. Она была кратким перемирием с окружающей жизнью.

Они гуляли по Пречистенскому бульвару, где с облетевших лип свисали клочья инея. Читали в читальне, сидя за разными столами, но иногда переводя взгляд на одну и ту же страницу в разное время. Пили «пяточковый» чай из толстых стаканов в подстаканниках – напиток был не для удовольствия, а для жеста: мы можем позволить себе эту малость.

Как-то раз ранним утром, когда мороз еще серебрил мостовую, они оказались рядом у Храма Христа Спасителя. Не потому что верили – Вера сомневалась, Илья искал веру в

законах физики, а Сережа верил в удачу. А потому что из распахнутых дверей храма лился хор – мощный, звенящий поток звука, поднимавшийся к позолоте куполов. Они стояли на тротуаре, втроем, не крестясь, не снимая шапок. Просто слушали. Это была музыка, которую давали даром, и они принимали этот дар – не как молитву, а как красоту, существующую помимо их скудного бюджета и социальных предписаний.

Говорили о книгах, о новых циркулярах по гимназиям, о том, как Сережин отец ругался на новый налог. Не было излияний, признаний, «настоящей» дружбы в ее слащавом, гимназическом понимании. Было тихое сосуществование душ, которым тесно в отведенных им ролях. Они были рядом в те редкие моменты, когда мир, занятый собой, на них не давил.

А потом, в конце февраля, в библиотеке случилось вот что.

Вера принесла вернуть «Севастопольские рассказы» – книгу, от которой у нее сжималось сердце и которую она теперь понимала гораздо глубже. И, собравшись с духом, тихо спросила у Анны Семеновны:

– «Анну Каренину» можно взять?

Она бросила чтение год назад, на середине, возмущенная и не понимая Анну. Теперь же ей отчаянно хотелось дочитать до конца, чтобы решить для себя: а была ли у той иная возможность – остаться собой и при этом выжить?

Анна Семеновна, обычно непроницаемая, на этот раз явно смутилась. Она избегала взгляда Веры, перелистывая журнал учета.

– Теперь... лучше выбрать что-то другое, милая.

– Но ведь это же не «Исповедь»! – почти беззвучно выдохнула Вера. – Это художественный роман. Его все читали.

– Теперь важно не жанр, – еще тише ответила библиотекарка, оглядываясь на пожилого читателя у картотеки, – а кто написал и что о нем говорят. – И, отвернувшись, принялась что-то искать в ящике, давая понять, что разговор окончен.

Вера вышла на морозный воздух Ваганьковского переулка с ощущением мелкой, унижительной обиды. И тут же увидела Илью и Сережу у фонаря. Они о чем-то горячо, но тихо спорили. Заметив ее, Сережа махнул рукой.

– Слышала новость? Толстого отлучили. Официально. Теперь его книги – как крамола. Даже «Анну» боятся.

– Но «Анна Каренина»... это же классика! – вырвалось у Веры с наивным, детским протестом.

– Классика – до тех пор, пока Синод не скажет, что она – ересь, – тихо, без эмоций, произнес Илья. Он не возмутился. Он констатировал факт, как закон природы.

Он вынул из внутреннего кармана мундира сложенный вчетверо листок бумаги и протянул ей. На нем ровным, угловатым почерком была переписана та самая, хрестоматийная фраза:

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая

несчастливая семья несчастлива по-своему».

И ниже, мелко:

«Отлучить можно от Церкви, но не от правды.

И.»

Вера взяла листок, и вдруг, глядя на этот неровный край бумаги, на эти карандашные буквы, выведенные с такой бережной аккуратностью, она подумала о другом – о Кити Щербацкой. О девушке, которая была «правильной», чистой, готовой к любви – и осталась незамеченной Вронским в тот роковой бал, потому что рядом оказалась ослепительная, грешная Анна.

И ее, Веру, с пронзительной, почти болезненной ясностью осенило: «Я – как Кити. Только Илья – не Вронский. Он не танцует вальс на балу жизни, завоевывая всеобщие взгляды. Он стоит у стены. И он – видит. Видит меня, а не мое платье, не мой статус, не ту роль, которую от меня ждут. Он увидел меня даже тогда, когда я лежала в снегу».

Это был не клочок бумаги – это был пароль, тайный знак их общего неприятия лицемерия. Они не говорили о Толстом больше в тот день. Но с этого момента чувство одиночества, ее вечный спутник, стало чуть менее всепоглощающим. Она больше не была один на один со всем миром.

*

А между тем мир вокруг жил своей, тревожной жизнью. Спустя еще несколько дней в Москве стало беспокойно. Вера чувствовала это по тому, как изменились разговоры лю-

дей вокруг. В очередях за керосином женщины перешептывались, оглядываясь. В гимназической уборной девушки, забыв про сплетни, испуганно пересказывали друг другу обрывки новостей, услышанных от родителей: в Петербурге студент стрелял в министра Боголепова; киевских студентов, которых отдали в солдаты за беспорядки, везут этапом, и матери мечутся по вокзалам; в Москве тоже беспокойно – на Моховой, у университета, жгут костры, приходила полиция, кого-то уводили. Говорят, больше все рабочие, но и студентов хватало.

– А мой папа слышал от знакомого пристава, – шептала толстая Катя из другого отделения, округлив глаза, – что в Манеже целую ночь держали человек пятьсот, а то и больше. В солдаты, говорят, всех поголовно...

Вера слушала и не знала, верить ли. Это было так далеко от их тихих переулков, от их занятий, от их книг. Но одновременно – так близко, что мороз пробегал по коже.

У себя дома она тоже слышала эти разговоры. Хозяйкин сын, слушатель Высшего технического, пропадал где-то целыми днями и возвращался поздно, с лихорадочным блеском в глазах. Как-то вечером, проходя мимо кухни, Вера невольно услышала обрывок его разговора с матерью:

– ... вы сами не понимаете! Там наши, такие же, как я... А вы говорите – учись!

– А ты думаешь, я за тебя не боюсь? – глухо отвечала хозяйка. – Только наше дело маленькое. Помалкивать надо.

Вера прошла на цыпочках, стараясь не скрипнуть половицей. Ей стало не по себе.

С Ильей и Сережей они виделись реже – весной у каждого прибавилось забот. Но однажды, в первых числах марта, встретились все трое у знакомого ларька на углу Волхонки и Малого Знаменского. День был серый, ветренный, с неба сыпалась ледяная крупа. Сережа, который только что откуда-то прибежал, был возбужден больше обычного.

– Слышали? – выпалил он, даже не поздоровавшись как следует. – У Никитских ворот, говорят, казаки нагайками разгоняли. Барышню какую-то, курсистку, за косу по снегу волокли. Народ кричал, а они – ничего...

Вера вздрогнула. Курсистку за косу. Почему-то вспомнился тот самый январский инцидент... Только тогда смеялись мальчишки. А теперь – казаки. И смеха нет.

– Откуда знаешь? – тихо спросила она.

– Да наш дворник рассказывал, ему знакомый извозчик говорил. А извозчик – тот сам видел, у него лошадь понесла, еле удержал, пока они... – Сережа махнул рукой и замолчал.

Помолчали. Где-то далеко, со стороны Пречистенки, донесся неясный гул – то ли ветер, то ли голоса, то ли показалось.

– А в прошлом году, – тихо сказал Сережа, глядя под ноги, – когда в Киеве студентов в солдаты забрали, отец говорил: «Правительство само себе врагов растит». Я тогда не понял. А теперь... – он махнул рукой и замолчал.

Вера смотрела на Илью. Он стоял, чуть наклонив голову, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом перевел взгляд на нее.

– Толстого отлучили, – сказал он негромко. – Студентов в солдаты гонят. Министра застрелили. А мы все еще спорим, можно ли читать «Анну Каренину». – Он усмехнулся углом рта, но в этой усмешке не было веселья. – Странное время.

– Страшное время, – поправила Вера, и голос ее дрогнул. Илья посмотрел на нее внимательно, чуть дольше обычного.

– Не страшнее, чем всегда. Просто... правда становится виднее. Кто чего стоит – тоже.

Он не договорил. Но Вера поняла. Поняла, что эти слухи, эти обрывки разговоров, эта тревога – все это не где-то там, отдельно от их жизни. Это и есть их жизнь. И то, что они стоят здесь втроем, а не расходятся по домам, пряча глаза, – тоже выбор. Молчаливый, негромкий, но выбор.

Сережа, словно стряхивая оцепенение, хлопнул себя по бокам:

– Ну их! Пойдемте, что ли, бубликов купим. Горячих. Пока еще бублики продают, а не только... – он не договорил, махнул рукой куда-то в сторону.

Они подошли к ларьку. Ларечник, заворачивая бублики в газету, негромко проворчал, ни к кому не обращаясь:

– Шуму-то сколько... А нам, старикам, одно: топись да кормись. Студенты, не студенты – все одно работать надо.

Илья, принимая у ларечника завернутые в газету бублики, взглянул на Веру. И в этом взгляде было что-то, отчего у нее защипало в носу. Не жалость. А признание. Ты видишь то же, что и я. Ты понимаешь. Мы – на одной стороне.

Они разошлись быстро, почти молча. У каждого были свои дела, свои заботы, свой страх за будущее. Но в тот вечер, ложась спать, Вера вдруг поймала себя на мысли, что думает не об арестантах и не о Боголепове. Она думает о том, как Илья смотрел на нее у ларька. И о том, что в этом взгляде было обещание. Не романтическое – другое. Обещание, что если мир рухнет, он будет стоять. И она, кажется, тоже сможет.

А еще через несколько дней в гимназии, на большой перемене, классная дама Мария Павловна строго объявила:

– Девицы, прошу без разговоров. Господин инспектор велел передать: никаких обсуждений политических событий. Кто будет замечена в вольнодумстве – строгий выговор и отметка о поведении.

Вера сидела, глядя в окно на серое небо, и думала: вольнодумство – это когда думаешь о том, о чем не велят? Или когда не перестаешь думать, даже если велят?

А потом, как всегда бывает весной, тревоги отступили – не потому что все разрешилось, а потому что жизнь брала свое. Снег еще лежал серыми пластами, по ночам подмораживало, и ветер с Москвы-реки задувал за ворот. Но дни становились длиннее, и даже в разговорах взрослых стало мень-

ше того лихорадочного шепота, который так пугал в феврале. Студентов – кого разогнали, кого выслали, кого и вправду забрали в солдаты – больше не обсуждали на каждом углу. Москва готовилась к Пасхе – ранней в этом году, холодной, почти зимней, – чистила подворотни, закупала куличи. Тревога не исчезла – она ушла вглубь, как вода уходит в мерзлую землю, чтобы напомнить о себе позже.

Вера сдавала последние перед выпуском сочинения, переписывала набело конспекты по истории и каждую свободную минуту проводила за книгами – теперь уже не только для души, но и для экзаменов. Илья, готовясь к переводным испытаниям, решал задачи до поздней ночи, экономя на керосине и на сне. Сережа, как всегда, оказывался везде и нигде – то пропадал у отца в лавке, то таскал Илье старые журналы, то просто болтался по бульварам, делая вид, что готовится.

Они встречались реже. Но встречи эти стали другими – спокойнее, привычнее. Уже не надо было объяснять, почему ты здесь, о чем молчишь, что прячешь за улыбкой. Просто – рядом. И этого хватало.

А в середине апреля случилось то, чего Вера не ждала и о чем не просила, – день рождения.

В ее семье этот день никогда не был праздником в полном смысле слова. Мать, если позволяли дела и деньги, пекла что-нибудь сладкое (в постные годы обходились без сдобы, но мать всё равно ухитрялась испечь что-то вкусное – на постном масле, с вареньем), говорила ласковые слова, но без

лишнего шума – к чему? Вера и сама не придавала значения этой дате. Шестнадцать – не рубеж, не событие. Просто еще одна весна.

Именины были другим делом. В сентябре, на Веру-Надежду-Любовь, мать всегда ставила в уголок небольшую иконку, зажигала лампадку и пекла пирог с капустой и яйцами – как когда-то пекла ее собственная мать. Говорили: «Вера – именинница». И Вере было приятно, что у нее есть свой день, особый, не похожий на другие. Два праздника в год, два повода почувствовать себя любимой, и оба – без лишних трат, но с тем теплом, которое не купишь.

Мать зажигала лампадку привычным, почти машинальным движением – не столько по вере, сколько потому, что так было заведено при отце. Вере иногда казалось, что для матери эти ритуалы – просто способ сохранить ту жизнь, которая была при нем: размеренную, правильную, с иконками и пирогами по праздникам. Когда-то, еще в Одессе, в ее собственном детстве все было иначе. Но об этом мать не говорила, а Вера не спрашивала.

Но в тот год все вышло иначе.

Утром мама, уходя на урок, поцеловала ее в лоб и положила на стол сверток – новую ленту для кос, темно-синий бархат с вышитой серебряной нитью каймой. Дорогая вещь, совсем не по их бюджету. Вера хотела спросить, откуда, но мать только улыбнулась устало и сказала:

– Ты у меня умница. Заслужила.

В гимназии подружки в складчину преподнесли открытку – аляповатые розы, пышные пожелания «счастья и успехов» каллиграфическим почерком. Вера улыбалась, благодарила, а внутри крутилось неблагодарное, но честное: «Спектакль. Как будто сам факт моего появления на свет – уже подвиг, который надо отмечать с этими розочками».

После уроков она вышла из гимназии и, как всегда, направилась в библиотеку. Не думала ни о чем особенном – просто привычный маршрут, просто день, просто весна.

А после библиотеки, у входа в их переулок, ее поджидали они.

Сережа, с деловитой улыбкой, протянул блокнот в прочной темно-синей обложке из клеенки – товар из отцовской лавки:

– Для умных мыслей! Чтобы не разлетелись, как воробьи.

Илья же молча протянул ей книгу. Это был томик «Записок охотника» Тургенева. Не новый, библиотечный, а личный. Корешок был затерт до белизны в местах сгибов, уголки страниц – замяты от частого перелистывания. На полях – аккуратные, сделанные карандашом пометки: короткие, как выстрелы, – «Да!», «Сравни», «Важно». На форзаце ровным, чуть угловатым почерком было выведено: «Вере. Илья. 8 апреля 1901».

– Возьми, – сказал он просто. – Я уже все для себя вычитал. А у тебя – еще впереди.

Разница в подарках была разительна и красноречива. Се-

режа дарил новое, пустое пространство для ее будущих мыслей. Илья отдавал свое, уже прожитое, прошедшее через его ум и сердце. Он делился не вещью, а частью своего внутреннего мира, доверяя ей ключи к нему.

Дома она положила книгу под подушку. Это был не оберег, а шифр, который ей еще предстояло разгадать.

*

Учебный год клонился к концу, а с ним – и выпускные экзамены. Вере предстояло сдавать математику – предмет, от одного названия которого у нее холодело под ложечкой.

Она могла часами читать Толстого, следить за хитросплетениями сюжета Достоевского, но логарифмы и задачи на построение сечений многогранников повергали ее в тихую панику.

Однажды, возвращаясь из библиотеки, они с Сережей остановились выпить чаю у знакомого ларька. В последнее время Илья пропадал по вечерам – давал уроки отстающим ученикам из купеческих семей, и его свободные часы теперь редко совпадали с их прогулками. Вера встречала его только в библиотеке, мельком, и расходились они быстро – у него всегда было «еще заниматься», «еще успеть», «еще тетради проверить». С Сережей же, напротив, дорога всегда оказывалась общей.

– Попроси Илью позаниматься с тобой, – неожиданно сказал Сережа, обжигаясь кипятком. – Он объясняет так, что даже я, законченный тупица, начинаю что-то соображать.

– Он же дает платные уроки, – возразила Вера. – У него нет времени. Да и...

– С тобой – по-другому, – перебил Сережа. – Он с друзьями не берет. А мы с ним так и познакомились-то: я латынь корячил, подошел спросить. Он минуту объяснил – и все встало на места. И говорит: «Если сам не дойдешь – не поймешь». Я неделю потом в словарях сидел. А он даже не спросил – решил или нет. Просто знал, что я должен дойти сам. – Сережа посмотрел на нее, и в его взгляде была не жалость, а что-то вроде уважительной усмешки. – С тобой, думаю, так же будет. Подойди. Спроси. Он не откажет.

Она покраснела – не от смущения, а от стыда за свою робость и гордость, которая мешала просить о помощи.

В субботу Вера пришла в библиотеку раньше обычного. Взяла с полки «Вестник Европы», который вовсе не собиралась читать, и устроилась за столом у окна – оттуда был виден вход в библиотеку, чугунные ворота и кусок тротуара, по которому подходили посетители. Листала страницы, не вникая в смысл, и сама себе не признавалась, кого ждет.

А когда в воротах показалась знакомая высокая фигура в темно-синей шинели, которая без мехового воротника и теплой подстежки казалась легче и больше облегалась плечи, сердце вдруг толкнулось о ребра. Илья шел не спеша, привычно придерживая фуражку – ветер с Моховой всегда норовил сорвать ее. Вера смотрела, как он приближается, как толкает тяжелую дубовую дверь, и только тогда быстро за-

крыла журнал, сунула его на место и выскользнула из читального зала.

Вестибюль встретил ее запахом сырой шерсти и воска от натертых полов. Вера присела на край деревянной скамьи у гардероба, делая вид, что поправляет шнурки на ботинках, – свое пальто она уже держала наготове.

Илья вошел, снял фуражку, направился к вешалке. И тут увидел ее.

– Здравствуй, – сказала Вера, поднимаясь, и голос прозвучал чуть выше, чем обычно.

Илья кивнул, задержав руку на пуговице шинели. Он не удивился – или хорошо это скрыл. Просто смотрел на нее, и в этом взгляде не было вопроса, только ожидание.

– Ты сегодня без Сережи? – спросила Вера, чтобы хоть что-то сказать.

– У него отец заболел. В лавке за старшего, – ответил Илья.

Пауза повисла между ними, густая и звонкая, как весенний воздух на улице. С Сережей никогда не бывало таких пауз – он заполнял их болтовней, шутками, не давая тишине стать неловкой. А здесь тишина была. И она давила иначе – не тяжестью, а какой-то пугающей полнотой, будто в этом молчании можно было услышать слишком много.

Илья, кажется, вовсе не замечал напряжения. Или замечал, но не считал нужным его разряжать. Он просто ждал.

– Ты что-то хотела? – спросил он наконец, и его спокой-

ный, ровный голос заставил сердце стукнуть быстрее.

Вера глубоко вздохнула. Сейчас или никогда.

– Ты... не мог бы мне помочь? С математикой. К экзамену.

Она сказала это и сразу почувствовала, как предательски теплеют щеки. Не от смущения перед ним – оттого, что пришлось просить. Признаваться в слабости. Приоткрывать что-то, что обычно держишь при себе.

Илья кивнул – без лишних слов, без ободряющих улыбок, которые только усиливают унижение. И от этого его спокойного кивка вдруг стало легче. Он не делал из ее просьбы события. Просто принял как факт.

– Хорошо. Завтра. После гимназии, в два, у Малого Знаменского. Потом пойдем к Пречистенскому бульвару.

Он уже собрался повесить шинель, но вдруг задержался на секунду, встретился с ней взглядом. В этом взгляде не было ничего особенного – ни нежности, ни любопытства, только ровное, спокойное внимание. Но почему-то именно от этого взгляда у Веры внутри что-то дрогнуло, будто струна, о существовании которой она не знала.

– До завтра, – сказал Илья и отвернулся к вешалке.

Вера вышла на улицу и только через полквартила заметила, что пальцы в перчатках сжаты в кулаки, а дышит она неглубоко и часто – как после быстрого бега.

Так они и занимались. К середине мая это вошло в привычку, в незаметный, но прочный порядок их жизни.

Третью неделю подряд они встречались по вторникам и

четвергам – сначала на бульваре, а когда холодало, перебирались в читальню. Экзамены были уже через две недели, и Вера чувствовала, как с каждым разом ее страх перед математикой отступает, сменяясь чем-то другим – может быть, просто привычкой, а может, тем спокойствием, которое возникает, когда рядом есть кто-то, кто не даст упасть.

Они сидели на чугунной скамейке под липами, которые уже начинали зеленеть – нежно, робко, первыми клейкими листочками, разделенные раскрытым задачником, как сводом законов. Он объяснял – тихо, методично, глядя не на нее, а на страницу, чтобы не смущать. Голос у него был ровный, без лишних интонаций, но в этой ровности чувствовалась такая уверенность, что уравнения переставали пугать.

Она записывала в свою тетрадь, изредка задавая короткий, точный вопрос. Иногда, когда она особенно сосредоточенно выводила формулы, он позволял себе скользнуть взглядом по ее лицу – и тут же отводил глаза, словно проверяя, не заметила ли.

Вокруг кипела жизнь бульвара: няньки в легких уже пальто и светлых капорах чинно катили коляски; студенты в потертых тужурках, размахивая руками, спорили о Марксе и о последних событиях в университете – их голоса то взлетали, то опадали, заглушаемые цоканьем извозчичьих пролеток; старушки в платках сыпали крошки голубям, которые нахально гуляли прямо под ногами. От ларька на углу тянуло жареными пирожками и дешевым чаем – кто-то грелся,

прихлебывая из жестяной кружки, хотя майское солнце уже припекало по-летнему. Никто не обращал внимания на двоих гимназистов, склонившихся над книгой, – самая обычная картина московского весеннего дня.

Он сидел рядом – в простой белой полотняной рубашке, рукава закатаны до локтей, открывая сильные, жилистые предплечья, на которых проступали вены, когда он перелистывал страницы. Фуражку снял и положил на скамейку рядом с задачником. Выющиеся волосы отливали медью на неярком майском солнце. Иногда ветер шевелил их, и тогда Вера ловила себя на том, что следит за этой игрой света и тени – и тут же опускала глаза в тетрадь.

Она – в строгом коричневом платье с черным фартуком (до экзаменов еще ходили в форме, и это было привычно, почти уютно), тяжелая черная коса, перехваченная той самой синей бархатной лентой, лежала вдоль спины и концом касалась скамейки – словно отдельная, живая часть ее. Иногда Илья замечал эту ленту краем глаза, но не позволял себе смотреть дольше мгновения.

Потом, когда солнце уходило за крыши и воздух становился сырым, они перебирались в читальню. Там царил свой, особый порядок – царство тишины, где даже скрип пера казался неприличным. Пахло старыми фолиантами, воском, которым натирали паркет, и чуть-чуть – керосином от ламп под зелеными абажурами, хотя к середине мая их зажигали уже редко – световой день становился длиннее. За высокими

конторками корпели над книгами пожилые господа в очках, в углу студент с фанатичным блеском в глазах конспектировал толстый том, и только мерное тиканье стенных часов напоминало, что время идет.

Они сидели за соседними столами, передавая друг другу листки с решенными задачами – молча, одними глазами спрашивая разрешения. Иногда их взгляды встречались поверх стопок книг. Он кивал – коротко, деловито: «Правильно». Она в ответ позволяла уголкам губ дрогнуть – на миллиметр. И снова погружались в мир формул и теорем, где все было ясно, логично и безопасно.

Илья объяснял терпеливо, без тени раздражения. Никогда не говорил «Это же элементарно!» Он говорил: «Давай разберем еще раз. Ты на верном пути». И от этих слов почему-то действительно становилось легче – будто он не учил, а просто помогал ей самой дойти до ответа.

Она не знала, что он перенес на ночь повторение тригонометрии для себя, что в среду ему теперь придется сидеть над латынью до одиннадцати, что в его тетради по естественной истории стоял лаконичный знак: «*B. – задачи. Остальное – завтра*». Она не знала. Но он знал. И каждый вторник и четверг после гимназии освобождал для нее – без лишних слов, без намеков на жертву.

Он не смотрел на изгиб ее шеи, хотя видел, как под тонкой кожей стучит жилка, когда она напряженно выводит уравнение. Не смотрел на ее пальцы, хотя замечал, как их движе-

ния становятся увереннее, когда она перестает бояться «икса» и «игрека». Он смотрел в учебник. Держал дистанцию. Соблюдал правила, выученные за годы жизни среди чужих людей.

Вера тоже не смотрела на него, когда он говорил. Но после одного из таких уроков, уже дома, раздеваясь в своей комнате, она вдруг поймала себя на мысли, что все еще слышит его голос – ровный, спокойный, без лишних слов. И вспомнила, как сегодня, когда она в который раз запуталась в дурацком примере, он на мгновение задержал взгляд на ее руке, сжимающей перо, – и ничего не сказал. Просто подвинул листок ближе и начал объяснять заново.

«А если бы он сейчас спросил не про биквадратные уравнения, – подумала она, глядя на свое отражение в темном оконном стекле, – а про что-то другое... про то, чего я боюсь, или про что мечтаю... я бы, кажется, ответила».

До экзаменов оставалось почти две недели. И она вдруг поняла, что боится не столько математики, сколько того дня, когда эти занятия закончатся и исчезнет этот простой и ясный повод быть рядом.

*

Экзамены прошли строго, даже сурово – как будто не знания проверяли, а покорность, способность сидеть с прямой спиной и не роптать. Но Вера выдержала. Четыре «отлично», три «хорошо» (в том числе по математике – это было почти чудом, и она знала, кому обязана этим чудом), похвальный

лист с витиеватой подписью попечителя.

В середине июня, в душном актовом зале, где пахло разогретым паркетом и казенным ладаном, начальница – грузная дама в синем шелковом платье с медальоном на груди – вручила ей свидетельство. Плотная бумага с гербовой печатью и черными подписями, пахнувшая типографской краской и клеем. На ней – казенные, строгие слова: *«Окончила полный курс наук женской гимназии»*. Не пергамент, не золотые буквы. Только право преподавать в начальном училище за двадцать пять рублей в месяц – или искать другой путь, которого для девушки из небогатой семьи, в общем-то, и не было.

Вера держала этот лист в руках и чувствовала странную пустоту внутри. Столько лет – и вот итог. Страница, которую можно спрятать в шкатулку.

– В частных гимназиях, говорят, бал устраивают, – шепнула Лиза, когда они выходили вместе из зала. Подруги жалась друг к другу, взволнованные и немного растерянные – кончилось детство, а что впереди, никто толком не знал. – С оркестром, с шампанским даже. У Соньки Вяземской сестра там учится – рассказывала: там выпускные как настоящие праздники. Мамы в шляпках, кавалеры приглашают на вальс, цветы, подарки...

– А у нас – чай с сушками да нотация о скромности, – отозвалась Надя, пряча свое свидетельство в сумку, будто стесняясь его простоты. – И напутствие: «Помните, девицы, ваше предназначение – семья, а не карьера».

Вера молча сложила бумагу и спрятала в лакированную шкатулку матери, где уже лежали: нитки – катушка за катушкой, белые, черные, серые, коричневые; обрезки лент, бережно свернутые, чтобы не мялись; сухие веточки лаванды для аромата; старая афиша Одесского театра, пожелтевшая, с выцветшей лиловой краской – «*Бенефис танцовщицы Лидии Гринберг*», и поверх всего – фотография отца в дешевой рамке, та самая, где он снят еще до болезни, с живыми глазами и рукой на эфесе парадной шпаги. Волосы светлые, гладко зачесаны на пробор, усы аккуратно подстрижены – смотрит строго, но без злобы, будто говорит: «Держись, Верочка. Я рядом».

Шкатулка приняла аттестат беззвучно. Выбор уже был сделан: педагогический класс при гимназии, не потому что хотела учить чужих детей, а потому что это давало хоть какую-то надежду на лучшее место, чем начальная школа за двадцать пять рублей. К тому же ее, как и прежде, надеялись освободить от платы. Еще один год отсрочки перед тем, как жизнь окончательно определит ее место.

Вера знала: осенью мать снова понесет прошение к начальнице гимназии. Снова будет прикладывать свидетельство о смерти отца, справку о пенсии, унижительную бумагу от пристава, подтверждающую, что они действительно бедны. И каждый раз Вера боялась, что в этот раз откажут. На курсы, говорят, берут и после седьмого класса – но платить за них пятьдесят рублей в год все равно нечем. Да и что дадут

эти курсы, когда она их кончит – через четыре года, неизвестно еще, с какими правами... А здесь – через год уже можно будет искать место получше, с восьмым классом.

Она закрыла крышку. И больше не думала об этом. По крайней мере, старалась не думать.

*

В один из последних июньских дней, когда Москва уже изнывала от жары и даже в тени Пашкова дома не спастись было от духоты, Вера случайно столкнулась с Ильей у входа в библиотеку.

Она пришла сдать книги перед отъездом, Илья, видимо, тоже заглянул на несколько минут – вышел с пустыми руками, но с тем самым выражением сосредоточенности, которое всегда появлялось у него после работы с каталогами.

Они увидели друг друга одновременно. И оба на мгновение замешкались – как будто не знали, положено ли теперь здороваться, когда уже нет общего дела, общих занятий, общей причины быть рядом.

– Здравствуй, – сказала Вера первой.

– Здравствуй, – ответил он.

Пауза повисла между ними – та самая, к которой она уже привыкла за время их занятий. Только теперь в ней не было задачника, за который можно спрятаться, не было скамейки, разделяющей их на «учителя» и «ученицу».

– Спасибо, – сказала Вера, глядя куда-то в сторону, на запыленные липы. – Без тебя я бы не справилась. Правда.

– Ты сама справилась, – ответил Илья, и в его глазах мелькнуло нечто вроде уважения – теплое, но сдержанное, как все у него. – Я был лишь... вспомогательным инструментом.

Она невольно улыбнулась этому слову – «инструмент». Только он мог так назвать себя. И в этой странной формулировке было столько правды, что захотелось вдруг сказать что-то важное, но нужные слова не приходили.

Они помолчали.

– Теперь Герье? – спросил он, зная ответ, но все же спрашивая.

– Педагогический класс, – коротко ответила Вера.

Он не стал спрашивать «почему». Он и так знал. Деньги, возможность, судьба – все это было написано на ее лице, и он умел читать такие вещи.

В этот момент откуда-то со стороны Знаменки вынырнул Сережа – взмыленный, раскрасневшийся, с фуражкой в руке, которой он обмахивался как веером.

– А вот вы где! – выпалил он, запыхавшись. – Я туда-сюда, думал, вы уже разбежались по своим делам. Жара – сил нет! – Он хлопнул Илью по спине. – Ну что, профессор? Отдыхать собираешься?

– Собираюсь, – улыбнулся Илья, и это была редкая, почти неуловимая улыбка – теплая и какая-то мальчишеская, несмотря на всю его серьезность.

– А мы с Верой, – подмигнул Сережа, кивая в ее сторону,

– пойдём, может, умные мысли в новый блокнот записывать. Если ты, конечно, не засадишь нас опять за свои бесконечные теоремы. Мы тоже отдыхать хотим!

Вера улыбнулась, и в этой улыбке не было прежней натянутости. В его шутливом «мы» она услышала не фамильярность, не попытку сократить дистанцию, а приглашение. Признание ее частью их маленького мира, где можно быть собой и не бояться, что тебя осудят. И это было и ново, и... правильно.

Они еще немного постояли, перебрасываясь ничего не значащими фразами о погоде, о каникулах, о том, что Сережа все лето проведет в Москве – помогать отцу в лавке, а Илья поедет к матери в Егорьевск. Вера слушала, кивала, улыбалась, а внутри уже зрело тоскливое предчувствие разлуки.

Незадолго до отъезда, когда все было решено: остаток лета они с матерью проведут на даче у знакомой купчихи – мать будет давать уроки танцев дочерям, а Вера останется компаньонкой: сопровождать их в прогулках, читать вслух по вечерам и терпеливо слушать их бесконечные сплетни, – Вера встретила Сережу случайно на углу Малого Знаменского.

Они присели на скамейку у чугунной ограды, и разговор сам собой свернул к Илье.

– А вы с ним... – Вера запнулась, подбирая слова. – После того как он тебе помог с латынью, вы стали друзьями?

Сережа задумался, глядя куда-то вдаль, на пыльные липы.

– Друзьями? Не знаю. Он не из тех, кто «дружит» в обычном смысле. – Сережа повертел в руках травинку, сорванную с газона. – С ним... сложно. Он молчит много. Не лезет в душу. Но если он рядом – на него можно положиться. Как на каменную стену. Молчит, но держит. Понимаешь?

Вера кивнула. Понимала. Лучше, чем кто-либо.

Помолчав, Сережа вдруг добавил, не глядя на нее:

– Ты ведь тоже... не совсем как все. У других девиц глаза горят от сплетен, от новых шляпок, от внимания кавалеров. А у тебя взгляд... как будто ты ждешь какого-то другого сигнала, которого никто вокруг не слышит.

Он помолчал, будто решая, стоит ли говорить дальше.

– И Илья такой же. Помнишь, у Пушкина: «Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень»? Так вот, у вас с Ильей все наоборот. Вы оба – лед. Только ты – прозрачный, а он – с морозным узором. И оба таете, когда никто не видит. – Он хитро прищурился. – А я, значит, пламень? Ну да, чтобы вы хоть иногда оттаивали.

Она не ответила. Но внутри у нее что-то тихо и окончательно встало на свое место, как щелкает в замке хорошо подогнанный ключ, который до этого лишь с трудом проворачивался. Сережа, сам того не зная, назвал то, что она чувствовала, но не умела выразить. Родство. Не по крови – по способу дышать.

А Илья, возвращаясь в тот вечер в свою каморку в Гагаринском переулке, думал не о занятиях, не о деньгах, не о

предстоящем лете. Он думал о том, как она стояла у библиотеки – маленькая, прямая, с этой своей тяжелой косой и глазами, в которых всегда было чуть больше, чем она говорила. Он думал о том, что занятия закончились, экзамены сданы, и он снова увидит ее только в сентябре.

Он не знал, что та же мысль, тихая и четкая, живет и в ней. Она не знала, что если бы она спросила: «Пойдем завтра в Сокольники?» – он, нарушив все свои графики и правила, ответил бы «да».

Но она не спросила. И он не предложил.

И эта неназванность, это нетронутое пространство между ними, было сейчас самой ценной, самой надежной вещью, что у них была. Единственной, которую они оба боялись разрушить неосторожным словом.

Глава 6

Сентябрь встретил Москву золотом листвы и холодными утренниками. По утрам трава на газонах вдоль Волхонки хрустела под ногами серебристым инеем, а извозчики натягивали тулупы и дышали паром в воротники. Вера любила это время – летняя духота спадала, город обретал ясность и строгость, и даже воздух казался вымытым до звона.

Вера вошла в гимназию уже не просто ученицей – слушательницей педагогического класса. Последний рубеж детства.

В раздевалке пахло сырой шерстью и нафталином. Кто-то из младших девочек возился у вешалки, путаясь в длинных шарфах; завидев выпускницу, они шарахались в сторону, как воробьи от кошки. Вера поймала на себе несколько любопытных взглядов – ее здесь знали. Лагодина, из седьмого, та, что с косами...

Она уже потянулась к своему крючку, когда сзади кто-то налетел на нее – нечто легкое, стремительное, будто выпущенное из пращи. Вера пошатнулась, ухватилась за вешалку и обернулась.

Перед ней стояла маленькая первоклассница. Стриженая коротко, почти по-мальчишечьи, с упрямым лбом и серыми глазами, которые смотрели не испуганно, а с каким-то странным, преждевременным вызовом. Челка неров-

ная, словно ее резали дома, наспех.

– Простите, – выпалила девочка, и в этом единственном слове прозвучала не вина, а досада на собственную неловкость.

Вера смягчилась. Что-то в этом стриженном затылке, в прямой спине, в том, как девочка не отвела глаз, вызывало невольную симпатию.

– Как тебя зовут? – спросила она негромко, без менторского тона.

– Марина, – ответила та и, помедлив, добавила: – Я первый класс.

– А я Вера. Педагогический. – Она чуть улыбнулась. – Ничего, Марина. Привыкнешь. Иди, а то опоздаешь.

Девочка кивнула – коротко, по-деловому – и, подхватив сползающий шарф, побежала по коридору. Из кармана ее фартука выпорхнул сложенный вчетверо листок, спланировал на пол. Вера машинально нагнулась, подняла – и успела разглядеть несколько неровных детских строк: *«Кукла спит, и кот молчит, только маятник стучит. Я сижу одна в углу, слушаю ночную мглу»*. Почерк скакал, но ритм уже дышал.

– Эй! – окликнула Вера, но девочка уже скрылась за поворотом.

Вера сунула листок в карман – отдаст при случае.

Она повесила на крючок свое старенькое пальто, из которого мать накануне выпорола зимний утеплитель, превратив его в осеннее, поправила воротник и на мгновение за-

держалась перед зеркалом в углу раздевалки. Оттуда на нее смотрела девушка в строгом коричневом шерстяном платье – форменном, с длинными рукавами и глухим воротником. Это платье было сшито еще два года назад, когда Вера перешла в шестой класс: мать тогда купила по случаю отрез добротного сукна, рассчитывая, что его хватит на несколько лет. И расчет оправдался – ткань была плотная, добротная, и теперь, после двух лет носки, платье выглядело лишь чуть поношенным, но вполне приличным. Мать перед началом учебного года распорол боковые швы, выпустила запасы, подшила низ – и платье снова сидело ладно, хотя Вере казалось, что за прошедшие годы она успела возненавидеть этот казенный коричневый цвет всеми фибрами души.

В педагогическом классе форма уже не была строго обязательной, но большинство слушательниц все же придерживались темных тонов – так спокойнее, меньше вопросов от начальства. Вера же просто донашивала то, что было. К тому же мать пришила свежий белый воротничок, накрахмалила передник до хруста – и в этом привычном облачении чувствовалась какая-то горькая гордость: мы не нищие, мы просто бережливые.

Она поправила косы – тяжелые, черные, с синеватым отливом, перевязанные простыми лентами. Никаких бантов, никаких затей. Внешняя аскеза, за которой скрывался бунт не против правил, а против самой необходимости что-то доказывать.

Анна Владимировна, учительница словесности, ведущая у Веры уроки еще с пятого класса, встретила ее в коридоре и остановилась. Взглянула на косы – и вздохнула устало, почти по-матерински:

– Госпожа Лагодина... когда же вы, наконец, научитесь убирать волосы по-взрослому? А то как гимназистка младших классов.

Вера подняла глаза – спокойно, без вызова:

– Но я уже и не гимназистка, Анна Владимировна. И сегодня – последний год.

Словесница помолчала, разглядывая девушку. Что-то дрогнуло в ее лице – может быть, память о собственной молодости, может быть, уважение к этой тихой, непоказной гордости.

– Что ж, – сказала она наконец. – Иди. Удачи тебе.

Она отступила, пропуская Веру, и в этом жесте было признание: перед ней не дерзость, а достоинство. Таких не переломить – можно только ждать, когда их внутренний стержень сам оформится в судьбу.

Слушательниц педагогического класса было немного – человек двенадцать. Состав пестрый, разночинный, и Вериных подруг среди них не оказалось. Рыженькая Зинаида Огнева, дочь псаломщика из Зарядья, вечно уткнутая в книги, будто боялась поднять глаза. Елена (она не помнила фамилию) из купеческой семьи – та сразу дала понять, что она здесь временно, «для кругозора», и носила платья с кружев-

ными вставками. Сестры Гнедины, дочери присяжного поверенного, держались особняком, переглядывались, будто знали что-то, чего другим не дано. Добрая Катя Смирнова пыталась завести разговор, но Вера чувствовала: не ее круг.

Не потому что они были хуже или лучше – просто другие. У каждой за плечами свой мир, свои надежды, свои страхи. И ее страхи – о деньгах, о матери, о будущем, – были только ее, ни с кем не разделенными. Раньше, в обычных классах, она была частью стайки, пусть не самой шумной, но своей. Теперь стайки распались, и нужно было учиться жить отдельно.

В сущности, из прежней жизни у нее остались только двое. И те – парни, гимназисты из четвертой мужской, с которыми их связывало негласное, ни к чему не обязывающее братство одиночек. Мысль о них – об Илье, погруженном в свои учебники, о Сереже, вечно куда-то спешащем с шутками, – грела где-то в груди, как спрятанная ладонь в муфте. Они тоже теперь в восьмом, выпускном. И жизнь перед ними ставила те же вопросы, только с мужской стороны.

Илья выбрал медицинский факультет. Это решение созрело в нем давно, как кристалл в перенасыщенном растворе.

– Без латыни – не пройти, – сказал он Сереже как-то в начале сентября, когда они случайно столкнулись на Моховой. Илья нес под мышкой подержанный «Курс анатомии» и пухлый конспект лекций профессора Склифосовского, который ему удалось достать через знакомого фельдшера. – Но я ее

выучу. Вызубрю, вдолблю, превращу в рефлекс. Даже если читать до рассвета.

Он говорил это спокойно, без пафоса, но Сережа знал: так и будет.

Сам Сережа сделал выбор в пользу юридического факультета. Не от веры в высокое призвание, а от трезвого расчета, свойственного его отцу, купцу второй гильдии:

– Там, говорят, учат не запоминать, а строить аргументы. А это, брат, в любой конторе пригодится. – Он усмехнулся. – Отец говорит: «С деньгами и без ума проживешь, а без ума и с деньгами – только до первой сделки». Так что пойду учиться на умного.

Вера знала это от Сережи – они иногда сталкивались в библиотеке или на углу Малого Знаменского, перебрасывались парой фраз и разбегались. Илья не появлялся вовсе. Исчез, растворился в своих учебниках и репетиторстве. Вера не обижалась – она понимала. Понимала даже слишком хорошо.

Потому что сама думала о будущем ежедневно, ежечасно, каждую свободную минуту, когда голова не была занята педагогикой, методикой и прочей необходимой скукой.

Вера мечтала о Высших женских курсах. Имя Герье, профессора, читавшего лекции на Пречистенке, звучало для нее как пароль в иную жизнь. Курсы давали настоящее образование – историю, филологию, естественные науки. Не «подготовку к семейной жизни», а право на труд, на мысль, на

себя.

Но между мечтой и возможностью лежала пропасть, измеряемая не в метрах, а в рублях.

В начале сентября начальница гимназии, вызывая ее для разговора о плате за восьмой класс, сухо заметила:

– Вы, кажется, грезите о курсах, госпожа Лагодина? – начала она без предисловий. – Похвально. Только вот выпускницам гимназий стипендий там не дают. Потом – конкурс на курсы. И средства на обучение. Имейте это в виду. Ваше прошение об освобождении от платы мы рассмотрим, но гарантий никаких.

Вера слушала, опустив глаза, и считала про себя. Она считала уже много раз, дома, лежа без сна, глядя в потолок с трещиной.

Отец оставил после себя пенсию – девять рублей в месяц. Это было немного, но без них они бы вовсе не протянули.

Мамины уроки танцев. Теперь их стало меньше, чем раньше. В Одессе, в молодости, мать танцевала в частном театре, но в Москве никому не было дела до ее прошлого. Иногда ее звали в богатые дома – учить дочерей «держат спину» и делать реверансы. За урок платили от семидесяти копеек до рубля, если повезет. В хороший месяц набегало рублей двенадцать-четырнадцать. В плохой – семь-восемь.

Шитье. Мать брала заказы – перешить платье, подогнать по фигуре, поставить заплату незаметно. За это платили копейками, но зато более-менее регулярно. Пара постоянных

клиентов платили по три рубля за сложную переделку. Другие заказчицы давали меньше. В месяц с шитья выходило еще рублей шесть-семь, если повезет с заказами.

Вера быстро прикидывала в уме: пенсия – девять, уроки – в среднем одиннадцать, шитье – шесть. Двадцать шесть рублей. В лучшие месяцы – тридцать.

А дальше начинались траты.

Квартира – две комнаты в доходном доме во 2-м Ильинском переулке – двенадцать рублей в месяц. Хозяйка, вдова чиновника, держала для них цену пониже, помня отца, но двенадцать рублей были незыблемы.

Дрова на зиму – в прошлом году ушли почти пятнадцать рублей за сезон; если раскладывать на месяц – рубль два с половиной. Керосин для лампы – около полутора рублей. Еда – чай, хлеб, картошка, крупы, капуста, постное масло, рыба, сахар на месяц, яйца, редко – мясо, творог, молоко – рублей двенадцать-пятнадцать на двоих, но часто не хватало. Мыло, свечи, починка обуви – еще рубль два-три.

Каждый месяц они влезали в долги. Хозяйке за квартиру иногда задерживали. Лавочнику – за хлеб и крупу. Мать занимала у знакомых, отдавала по рублю, когда получала за уроки. Жили, как на тонком льду.

И это – не считая одежды. Верино пальто держалось третий год, мать ставила аккуратные заплатки на локти, подбирая нитки в тон. Ботинки подшивали дважды. Белье штопали до прозрачности.

Вера вышла из кабинета начальницы с каменным лицом, но внутри все сжалось в тугую, болезненный комок. Она шла по коридору, не замечая ни девочек, ни учителей, и думала только об одном: неужели это все? Неужели ее дорога кончается здесь, в педагогическом классе, чтобы потом – гувернанткой в чужой дом, учить чужих детей, слушать чужих матерей и навсегда забыть о том, чтобы читать Салтыкова-Щедрина не в перерывах между стиркой, а по праву, по зову души?

Она зажмурилась на мгновение, прислонившись к холодной стене в пустом коридоре. А потом открыла глаза и пошла дальше. Надо было готовиться к уроку педагогики. Жизнь продолжалась.

*

Они почти не виделись.

Илья пропал – с ним можно было встретиться только в библиотеке, да и то мельком. Он сидел в читальном зале, уткнувшись в латынь или анатомические атласы, и если Вера случайно ловила его взгляд, он кивал – коротко, будто извиняясь, – и снова уходил в свои книги. Подойти, заговорить было невозможно: между ними выросла невидимая стена из невыученных терминов и нерешенных задач.

Сережа жил с отцом на углу Остоженки и Пречистенских ворот, в том же доме, где на первом этаже помещалась их лавка колониальных товаров. Дорога в библиотеку лежала у него через переулки, и иногда – случайно или нет – он ока-

зывался в Малом Знаменском как раз в тот час, когда Вера возвращалась из библиотеки или из педагогического класса.

Встречи эти были короткими, как глоток воды на бегу.

– Здравствуй. Как дела?

– Нормально. А у тебя?

– Завал. – Сережа усмехался, но глаза были усталые, с темными кругами. – Три тома «Курса гражданского права» Победоносцева. Мозг кипит. Отец говорит: «Учись, Сережа, юрист – это как купец, только товар у него – слова». А я пока эти слова через себя пропустить не могу – застревают.

– Тяжело?

– А кому сейчас легко? – он пожимал плечами, пряча руки в карманы шинели. – Ты-то как? В педагогическом не скучаешь без нас?

Вера только улыбалась в ответ. Скучала. Но говорить об этом не хотелось.

Их тройственный союз, хрупкий и молчаливый, распался тихо, как снежный покров под мартовским солнцем – без треска, оставляя лишь влажную, прохладную пустоту.

Иногда вечером, лежа в постели и слушая, как за стеной мать возится с шитьем, Вера думала об Илье. О том, как он сидел рядом на бульваре, терпеливо объясняя ей дурацкие логарифмы. О его книге с пометками, подаренной на день рождения. О том, как он смотрел на нее в последнюю встречу – будто хотел что-то сказать, но не сказал.

Она не позволяла себе мечтать. Мечты о нем были бы рос-

кошью, а она не имела права на роскошь. Но иногда, в темноте, она позволяла себе вспоминать. И этого было достаточно. Пока достаточно.

А завтра снова надо было идти в педагогический класс, слушать Еленины колкости, прятать глаза от начальницы и решать задачи по методике. И считать, считать, считать рублей, которых никогда не хватало.

Но внутри, глубоко, жила надежда. Та самая, что заставляла ее в шестнадцать лет, несмотря ни на что, носить в сумке томик Салтыкова-Щедрина и думать о курсах как о несбыточной, но единственно возможной мечте.

Надежда – это все, что у нее оставалось. И она держалась за нее, как за последнюю нитку, которой мать штопала их протертую жизнь.

А в декабре в эту размеренную, штопаную-перештопаную жизнь ворвалось известие. Гимназия объявила:

«Рождественское собрание выпускниц седьмого класса и слушательниц педагогического класса. 23 декабря 1901 года. По благословению начальницы и с разрешения попечителя Московского учебного округа разрешается пригласить гимназистов в качестве кавалеров для танцевальных упражнений».

Объявление было вывешено на доске в вестибюле, напечатанное на плотной бумаге с витиеватой казенной подписью. Вокруг него с утра толпились девушки – читали, перечитывали, ахали.

Переполох в классах был неописуем. Учительницы перешептывались в коридорах. Одни – с одобрением: «Новое время требует новых форм!». Другие – с тревогой: «Это против устава, это разврат!». Но начальница, дама пятидесяти лет с лицом, выточенным из гранита, стояла на своем: «Девочки оканчивают гимназию в шестнадцать-семнадцать лет. Пора учить их не только скромности, но и светским манерам. Иначе мы выпустим в мир существ, не умеющих ни танцевать, ни говорить, ни держать себя в обществе».

Это было нововведением – рискованным, спорным, но именно поэтому оно обрело для выпускниц почти священный смысл: последний шанс быть вместе, не как дети, а как почти взрослые.

Вера прочла объявление и почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. Бал. Взрослое платье. Музыка. И – возможность увидеть их обоих не мельком, на бегу, а так, как раньше, когда они были втроем и мир казался если не добрым, то хотя бы не враждебным.

В тот же день она взяла два листка тонкой, чуть голубоватой писчей бумаги, хранившейся в шкатулке с лавандой.

Первое письмо было лаконичным, как телеграмма:

«Илья, приходи на бал. В последний раз. В.»

Второе – почти веселым, с легким укором:

«Серезжа, не забудь – ты обещал станцевать вальс. И мазурку тоже. Жду. Вера.»

Она не выбирала между ними. Она просто хотела, чтобы

оба берега ее короткой, отшумевшей дружбы сошлись в одной точке, создав на прощание цельный, завершённый образ.

Сложив листки, она спустилась вниз и вместе с пяточком за труды передала их дворнику Федоту – тот знал всех в округе, и до Гагаринского переулка, и до лавки Аросимова было рукой подать. К вечеру адресаты получают свои записки. Остальное было уже не в ее власти.

Вечером 22 декабря, накануне бала, Вера сидела перед маленьким зеркалом в маминой комнате. Лидия Григорьевна, хлопотавшая с иголкой, наконец отложила шитье и подошла к комоду. Из верхнего ящика, из-под стопки выглаженного белья, она достала сверток – пожелтевший от времени, перевязанный тесемкой.

Вера развернула его. На колени ей лег корсет – белое полотно с костяными пластинками, с аккуратными рядами шнуровки, с нашитыми подвязками, которые уже никому не были нужны. Старый, но еще крепкий – мать берегла его с одесских времен.

Вера никогда раньше не надевала корсета. В гимназии форма сидела свободно, дома она ходила в простых ситцевых платьях. Но сейчас, оставшись в нижней рубашке, она позволила матери обхватить себя полотном, стянуть шнуровку на спине. Пальцы матери двигались привычно, ловко – когда-то она делала это каждое утро, для себя.

Полотно легло на тело плотно, но не душаще. Мать затянула шнурки, и Вера почувствовала, как выпрямилась спина,

как грудная клетка поднялась, как изменилось все – осанка, дыхание, даже взгляд в зеркале. Она стала выше, стройнее, взрослее. И вместе с тем – закованной в эту новую, чужую оболочку. Дышать приходилось иначе, не животом, а грудью, и каждое движение требовало осторожности, плавности.

Она скользнула взглядом по своему отражению и замерла. Корсет не просто стянул талию – он перекроил весь ее привычный силуэт. Плечи расправились, спина обрела жесткую, непривычную прямоу, а там, где раньше свободная кофта скрадывала любые очертания, теперь мягко, но отчетливо проступила грудь – высокая, полная, словно внезапно ставшая центром всей фигуры. Ворот сорочки оставался высоким и глухим, в этом не было ни капли неприличия, но Вере вдруг показалось, что она выглядит вызывающе – не потому, что платье открывало что-то лишнее, а потому, что ее собственное тело, обычно такое незаметное, вдруг заявило о себе так громко и неожиданно. Она почувствовала, как щеки заливают румянец, и поспешно отвела глаза от зеркала.

Мать, заметив ее смущение, лишь чуть улыбнулась – той самой, понимающей улыбкой женщины, которая когда-то сама носила этот корсет на сцене. Она ничего не сказала, только поправила выбившуюся прядь у виска дочери.

Потом пришла очередь платья. Бледно-голубое сукно, перешитое из старого мамино, до этого висело на Вере мешковато, по-гимназически. Теперь, поверх корсета, оно легло иначе. Мать придирчиво оглядела плечи, подол, взяла булаву-

ки и быстро, почти незаметно прихватила лишнее по бокам, чтобы ткань облегла фигуру мягко, но точно.

Вера сняла платье осторожно, чтобы не сбить булавки, потом, с помощью матери, освободилась от корсета. Кожа на ребрах порозовела – след от костяных пластинок. Было немного непривычно, немного тесно, но в этом чувствовалась какая-то новая, незнакомая прежде собранность.

Утром 23 декабря Вера встала раньше обычного. За окнами, за двойными рамами, мороз рисовал на стеклах серебристые папоротники. В комнате пахло растопленной печкой и ванилью – мать с вечера поставила тесто для пирожков.

Вера оделась сама. Корсет сегодня пошел легче – тело будто запомнило вчерашний урок. Она затянула шнуровку насколько хватило сил, потом позвала мать довершить дело. Та подтянула, завязала, и Вера снова почувствовала себя закованной в эту жесткую, но почему-то надежную оболочку. Дышать было можно, если не делать глубоких вздохов. Наклоняться – осторожно. Сидеть – прямо. Корсет диктовал осанку, и Вера вдруг поняла, что именно так, наверное, и чувствуют себя взрослые женщины – всегда чуть-чуть скованные, но от этого еще более собранные.

Поверх корсета легло платье. Оно сидело идеально – мать ночью ушила, подогнала, и теперь бледно-голубое сукно облегло фигуру мягко, но точно, не стесняя, но и не болтаясь мешком. Лиф, прежде бесформенный, теперь повторял очертания ее тела, и Вера, взглянув в зеркало, снова почув-

ствовала тот же укол смущения, что и вчера: она казалась себе слишком заметной, слишком женственной, словно ее тело выдавало какую-то тайну, о которой она сама прежде не подозревала. Но теперь к этому примешивалось и что-то еще – тревожное, но приятное, как предчувствие.

Потом пришла очередь прически. Вера долго смотрела на свое отражение, прикидывая, как лучше. Уложить по-взрослому – высоким узлом, с валиками и локонами – она не умела. Заплести косы – привычно, просто, по-гимназически. Но косы на балу, когда все вокруг будут с прическами? Это значило бы явиться девочкой в компанию взрослых девушек.

И вдруг она решилась.

Взяла несколько шпилек – маминых, старых, с потускневшими перламутровыми головками – и заколола волосы низко, у самой шеи. Не в узел, не в пучок, а так, чтобы тяжелая черная масса спадала на спину почти свободно, но была чуть прихвачена, собрана у затылка. Несколько непокорных прядей выбились сами – густые, вьющиеся, они легли на виски и шею мягкими волнами.

Она отошла от зеркала, посмотрела на себя издали. Прическа была на грани приличия. Формально – волосы убраны, заколоты, не распущены. Но из-за длины, из-за этой густой, живой черной волны, падающей на спину, из-за выбившихся прядей – это выглядело почти вызывающе. Почти как у цыганки, как сказала бы классная дама. Но придраться было не к чему: все шпильки на месте, волосы не падают на плечи,

шея открыта.

И в этом – в этой зыбкой грани между приличием и вызовом – было что-то такое, что Вере вдруг понравилось. Не назло, не напоказ, а просто – она так хотела. Так чувствовала. И пусть.

Она убеждала себя, что это лишь для первого и возможно единственного в жизни бала, что всякая девушка хочет быть красивой в такой вечер. Но где-то глубоко, под этими разумными доводами, теплилась иная, пугающая мысль: а что, если чей-то взгляд вдруг задержится на ней дольше обычного? Не оценивающе – просто увидит. Эту мысль она поспешно затушила, как нечаянно зароненную искру, и снова строго взглянула на себя в зеркало, проверяя, не выбилась ли прядь. Но искра, едва заметная, уже тлела где-то внутри, согревая больше, чем растопленная печь.

Мать вошла в комнату без стука, замерла на пороге.

Она смотрела на дочь долго, молча. Вера ждала замечания – о прическе, о платье, о том, что слишком взросло, слишком смело. Но Лидия Григорьевна молчала. В ее глазах стояло что-то теплое и чуть влажное – не слезы, а скорее свет, отраженный от снега за окном.

– Ты такая красивая, – сказала она наконец тихо, и в ее голосе прозвучала не только материнская гордость, но и шепотка грусти: дочь перерастает мир, в котором мать еще вынуждена существовать.

Вера встретила ее взгляд в зеркале.

– Я такая – я, – ответила она, и в этой фразе было все ее взросление.

Мать кивнула, шагнула ближе, поправила несуществующую складочку на плече, коснулась кончиками пальцев выбившейся пряди – но ничего не сказала. Просто поцеловала дочь в макушку и вышла, оставив ее одну перед зеркалом.

*

Гимназический зал преобразился. Огни: свечи в тяжелых канделябрах вдоль стен оплывали золотистым воском, бенгальские огни на огромной елке в углу рассыпали снопы искр, отражаясь в блестящих пуговицах гимназических мундиров. елка пахла хвоей и мандаринами, ее украшали игрушки из папье-маше и золотые орехи. В глубине зала, на возвышении, стоял рояль – пианистка, пожилая немка в кружевной наколке, уже перебирала клавиши, пробуя звук, и первые аккорды плыли над начищенным паркетом, смешиваясь с ароматом духов и легким волнением.

Девочки порхали стайками – белые лебеди и голубые мотыльки в облаках тюля и шелка, с волосами, убранными в высокие, сложные прически. Локоны, шиньоны, гребни с фальшивыми жемчужинами – каждая старалась выглядеть взрослее, богаче, загадочнее. Кружевные веера трепетали в руках, как крылья экзотических бабочек, и шепот переливался над залом: «Ах, посмотри, этот из гимназии Креймана...», «А у Риточки бант на платье...»

В центре зала, вдоль стен, чинно расположились классные

дамы и учительницы – они наблюдали за происходящим с той особой бдительностью, которая превращала каждый танец в испытание не только грации, но и благонравия. Инспектор мужской гимназии, сухой старик с бакенбардами, переговаривался о чем-то с начальницей – оба поглядывали на пары, но пока, кажется, оставались довольны.

Когда Вера вошла – с этой темной, живой волной на спине, в скромном голубом платье, без единой драгоценности, кроме сияния своих глаз, – в зале на мгновение воцарилась тишина. Даже пианистка замерла с руками над клавишами.

Взгляды скользнули по ней, как лучи прожекторов. Кто-то из девочек зашушукался за веером – но не с осуждением, а с тем особым, смешанным с завистью любопытством, с каким смотрят на человека, осмелившегося быть не таким, как все. Анна Владимировна, стоявшая у колонны, приподняла бровь. Начальница нахмурилась – но промолчала. Она увидела в этом жесте не вызов, а прощание. И прощание заслуживает снисхождения.

Сережа пришел.

В новом, немного мешковатом пиджаке, с гвоздикой в петлице (явно из отцовского запаса), с неизменной, чуть лукавой улыбкой. Он отыскал Веру взглядом – сразу, как только вошел, и направился к ней через расступающуюся толпу.

– Ты – как Белоснежка, только без снега. Снег, думаю, ты уже под ноги порассыпала. – Он поклонился, шутливо, но в глазах мелькнуло что-то большее, чем просто дружеское вос-

хищение. Оценил. Заметил. Но тут же спрятал за улыбкой.

Они танцевали.

Первой была полька – живая, задорная, с легкими подскоками и кружениями. Вера вела себя в танце иначе, чем в жизни: тело само вспоминало то, чему учила мать, чему учили в гимназии на обязательных уроках танцев. Кровь Лидии Григорьевны, когда-то танцевавшей в одесском театре, говорила в ней – пластично, музыкально, без усилий. Каждое движение было точным, но не заученным – живым.

Сережа вел уверенно, с легкостью, которую давали гимназические уроки и, может быть, природная пластичность. Он не сбивался с ритма, вовремя подавал руку, вовремя отпускал. И дистанцию держал ровно настолько, насколько требовали приличия, – но Вера ловила на себе его взгляды, чуть более долгие, чем нужно. Не навязчивые, не пожирающие – просто... замечающие. Он смотрел на нее иначе, чем на других девочек. И она это чувствовала.

Потом заиграли вальс. Плавный, чуть грустный, он разлился по залу, увлекая пары в кружение. Вера закрыла на миг глаза, отдаваясь музыке. В вальсе было что-то от тех вечеров, когда мать, устав от шитья, садилась к старенькому граммофону и кружила ее по комнате, приговаривая: «Запомни, дочка, вальс – это не шаги, это дыхание. Если дышишь с партнером в такт – вы никогда не собьетесь».

С Сережей они дышали в такт. И когда он чуть крепче сжал ее талию на повороте, это могло быть случайностью. А

могло и нет.

А потом началась мазурка.

Вот где открылось истинное веселье и истинное искусство. Мазурка в гимназиях была особым танцем – не просто хореографией, а испытанием. Она требовала не только ловкости, но и мгновенной реакции, умения с полувзгляда понимать партнера. И еще – в мазурке постоянно менялись пары: кавалеры переходили от одной дамы к другой, фигуры сменялись, и каждая приносила новое лицо, новые руки, новый ритм.

Вера кружилась. Сначала с Сережей – они отбили ритм чеканными шагами, ударяя каблуками в паркет с той особой, мазурочной гордостью, когда танец становится почти вызовом. Потом – с долговязым гимназистом из седьмого класса, который старательно считал про себя шаги и все равно сбивался, отчего Вере приходилось чуть заметно направлять его, не давая сломать рисунок. Потом – с сыном инспектора, который вел правильно, но холодно, будто отбывал повинность. Вера улыбалась всем одинаково вежливо, с тем безупречным светским выражением, которому научилась у матери.

Но краем глаза, между фигурами мазурки, между переходами от одного кавалера к другому, она все время смотрела на дверь.

Илья не пришел.

– Илья не придет, – сказал Сережа между двумя фигура-

ми, когда они сошлись в очередной раз и остановились перевести дух у колонны. Он не спрашивал, он утверждал. – Я заходил к нему утром. Он сидит над латынью, как монах над псалтырем. Реймер назначил ему дополнительную проверку на завтра. Говорит, без этого казеннокоштного места не видать.

Вера кивнула, лицо ее осталось спокойным.

– Я знала. Он не придет.

– Не сердись на него. Он... другой. – Сережа мял в руках перчатки, не зная, как объяснить то, что чувствовал сам. – Для него бал – это не отдых, а еще один, самый трудный экзамен. На который он не допущен собственной природой.

– Я не сержусь, – тихо ответила Вера. – Я просто... ждала.

Сережа посмотрел на нее долгим взглядом. В этом взгляде было что-то, чего раньше не случалось – не сочувствие, не жалость, а скорее... узнавание. Будто он видел ее впервые – не подругу, не товарища по прогулкам, а девушку, которая умеет ждать, умеет прощать, умеет не показывать боли.

– Ты сегодня... – начал он и осекся. – Ты сегодня удивительная. Правда.

Вера подняла на него глаза, и он вдруг смутился, отвернулся, зачем-то поправил гвоздику в петлице. В этот момент к ним подошел распорядитель танцев, приглашая Веру для следующей фигуры мазурки. Она улыбнулась Сереже и ускользнула в круг.

Они встречались взглядами еще несколько раз за вечер –

когда менялись партнерами, когда он ловил ее руку в очередной фигуре, когда просто стоял у колонны, наблюдая за ней. В этих взглядах не было ничего лишнего – только теплое, чуть удивленное внимание. Будто он заново открывал для себя человека, которого, казалось, знал давно.

Когда музыка смолкла и гости стали расходиться, Вера вышла на крыльцо. Морозный воздух ударил в лицо, как отрезвляющая пощечина. Над Москвой стояло чистое, звездное небо, иней искрился на перилах, где-то вдалеке позвякивали бубенцы троек.

Она не плакала. В груди было не больно, а пусто и просторно, как в только что вынесенной комнате.

Сережа появился рядом бесшумно, протянул сложенный листок:

– Он дал мне это утром. Велел передать.

Она развернула. Знакомый, угловатый почерк:

«Не смогу. Реймер назначил особую встречу на 24-е. Без его поручительства и моего идеального ответа казеннокоштного места не будет. Прости. Я не могу подвести ни его, ни себя. И.»

Она перечитала два раза, потом аккуратно сложила и спрятала в муфту.

– Он что, не мог прийти на час? – спросила она, и голос ее был ровным, без дрожи.

– Мог бы, – вздохнул Сережа. – Но... он не умеет быть легким. Ты же знаешь.

Он помолчал, глядя на заиндевевшие фонари.

– Просто... казалось, наши пути ненадолго шли рядом. Лес такой густой был, что думалось – одна тропа.

– А теперь лес кончился, – тихо закончила Вера. – И тропы разошлись.

– Успели побыть друзьями? – спросил Сережа, и в голосе его была непривычная серьезность.

– Успели. Этого... да. Этого достаточно.

Она сама почти поверила в это. Почти.

Она взяла его под руку, и они пошли вниз по ступеням. Сережа поймал извозчика – редкое мотовство, но Вера не стала отказываться. В санях было тесно, пахло лошадиным потом и морозом. Сережа накрыл ее ноги полостью, заботливо, и на мгновение задержал руку на ее ладони – чуть дольше, чем позволяли приличия.

– Знаешь, – сказал он тихо, когда сани тронулись, и голос его звучал как-то по-новому – мягче, что ли, – а ведь ты сегодня была... – Он запнулся, подбирая слова. – Ты сегодня была собой. Это, наверное, и есть самое главное.

Вера повернулась к нему. В полумраке саней его лица было почти не разглядеть, но она чувствовала – он смотрит на нее. Не с ожиданием, не с требованием – просто смотрит, и в этом взгляде было что-то, отчего внутри шевельнулось теплое, благодарное чувство.

– Спасибо, – сказала она просто.

Он кивнул, отвел взгляд.

– Передал я ему твой сверток, – сказал он уже другим тоном, будто возвращаясь к обычному себе. – Утром еще. Зашел на минуту – он уже сидел за книгами. Положил на стол, рядом с чернильницей. Он даже не спросил, от кого. Просто кивнул. Но я видел: глаза у него теплее стали, что ли.

Вера молчала, глядя на проплывающие мимо темные особняки.

Дома, перед зеркалом в тяжелой раме, она долго смотрела на свое отражение. На девушку, чья красота была уже не детской, но еще не стала женским оружием.

Она распустила волосы – тяжелая черная волна упала на плечи, и в этом жесте было что-то от освобождения. Сняла платье, стянула корсет – и сразу, всей кожей, почувствовала, как тело наконец-то расправляется, дышит, возвращается к себе. Целый вечер она была затянута, зашнурована, собрана – и вот теперь можно было просто быть.

Глубокий вдох. Еще один. Как хорошо.

Кое-где на коже еще алели тонкие полоски – память о костяных пластинках, вьёвшихся в тело за несколько часов танцев. Но это были уже не следы подготовки, а отметины свершившегося вечера – как у солдата после первого сражения, как у пловца после долгого заплыва. Они скоро исчезнут, а вечер останется.

Вера накинула халат, поправила волосы, села за стол. Лампа горела ровно, чернильница была открыта, перо лежало наготове. Она обмакнула его, занесла над бумагой – и замерла.

О чем писать? О бале? О танцах? О том, как смотрел Сережа? О том, что Илья не пришел?

Она написала четко, без помарок:

«23 декабря. Рождественское собрание в гимназии. Танцевала много – польку, вальс, мазурку. Сережа был, танцевал хорошо. Смотрел на меня сегодня как-то иначе – будто увидел впервые. Илья не пришел. Все как и должно было быть, вероятно».

Поставила точку и задумалась. А потом, намеренно мелко, почти шифром, добавила внизу страницы:

«Почему он всегда выбирает тишину долга над шумом жизни? И почему эта тишина теперь звучит громче любой музыки?»

В тот же час, в комнате в Гагаринском переулке, Илья сидел над раскрытым учебником латыни. Буквы давно перестали складываться в слова – они просто чернели на бумаге, равнодушные к его усилию.

Перед ним, на чистом краю стола, лежала тетрадь в серой обложке. Он уже знал ее на ощупь – шероховатую, плотную, надежную. Весь вечер, пока учил, он то и дело касался ее уголка, будто проверяя, не исчезла ли.

Теперь, когда за окном стихли последние звуки и даже хозяйка ушла к себе, он позволил себе открыть ее снова.

На первой странице, в правом верхнем углу, знакомым почерком было выведено: «22.XII.1901». И ниже, уже привычными, уверенными штрихами:

«Чтобы и у тебя было куда записывать свои задачи. Те, что посложнее латыни».

Ни подписи, ни обращения. Просто подарок. Просто знак. Она не просила, не упрекала. Она – дарила. Признавая его право на его путь. И это было тяжелее любого упрека.

Илья закрыл глаза. И сразу – теплый свет, листва, скамейка на Пречистенском бульваре. Она сидит рядом, склонившись над задачником, и непокорная прядь волос падает на щеку. Он тогда чуть не протянул руку, чтобы убрать ее. Не протянул. И сейчас, в тишине, от этого «не протянул» защемило где-то под сердцем.

Он открыл глаза. Латынь ждала. Реймер ждал. Экзамены, поступление, новая жизнь – все это стояло за дверью, невозможное, как утро. А за другой, невидимой дверью остался короткий миг покоя, ее голос, аромат от лип и простое человеческое счастье, которое он сейчас не мог себе позволить.

Илья аккуратно закрыл тетрадь и положил ее не в ящик, а рядом с учебником – на самое видное место. Чтобы видеть, когда будет поднимать голову от бесконечных склонений. Чтобы помнить.

Потом снова склонился над книгой. Долг есть долг. А сердце... сердце умеет ждать. Оно никуда не денется.

За окном, за двойными рамами, Москва готовилась к Рождеству. Где-то пели, где-то смеялись, где-то скрипели полозья по снегу. А в маленькой комнате на Гагаринском было тихо – так тихо, что в этой тишине умещалось все: и боль

несделанного выбора, и свет невысказанного, и надежда, что, может быть, когда-нибудь...

Он не додумал эту мысль. Просто перевернул страницу и продолжил зубрить.

Глава 7

Гимназия осталась за спиной. Не как этап, а как закрытая дверь в теплом доме, из которого тебя мягко, но неумолимо вывели на холодное крыльцо собственной судьбы.

Свидетельство на звание домашней наставницы лежало в лакированной шкатулке матери поверх аттестата, между веточками лаванды и запиской от Сережи:

«Поступил на юридический. Отец три дня молчал, потом сказал: «Ладно. Юрист в лавке не помешает – контракты читать будешь». Теперь совмещаю: утром – лекции на Моховой, после обеда – лавка на Остоженке. Мозг трещит от смены занятий, но я доволен. Как твои дела? У отца опять приступ – сердце старое. Доктор прописал капли и покой, но какой покой, если кредиторы на пороге? Пиши, если если... есть что сказать. С.»

Вера не ответила сразу. Не потому что не хотела, а потому что не знала, что писать. «Хорошо» звучало как ложь, «плохо» – как жалоба. А правда была сформулирована лишь внутри: «Я нахожусь в подвешенном состоянии. Я не знаю своих координат».

Первые недели после выпуска прошли в ритме домашнего заточения: шитье на «Зингере», чтение, уборка, чай с молоком – сахар кончился, а покупать новый было накладно. Вера машинально прихлебывала горячую жидкость, глядя,

как запотеваает стекло от ее дыхания. За окнами, за еще не заклеенными на зиму рамами, лежал конец сентября – прозрачный, холодный, с первыми желтыми листьями на липах. Он казался чужим, не ее.

Мать работала на износ. По утрам – уроки танцев у дочерей чиновников (семьдесят копеек за час, если повезет – рубль). После обеда – подработка у модистки на Петровке, в тесной мастерской, где пахло утюгом и дешевыми кружевами. Вечерами – шитье на «Зингере» при керосиновой лампе, пока глаза не начинали слезиться. Вера помогала: обметывала петли вручную, пришивала пуговицы, распарывала неудачные швы – все, что не требовало машинки. Читала, когда выпадала свободная минута. Ходила в библиотеку. Ждала сигнала к началу собственной жизни, но не знала, как он должен прозвучать.

Она не жаловалась вслух. Но внутри зияла тихая, просторная пустота, как в квартире после отъезда шумных, но чужих гостей.

«Почему я не радуюсь свободе? – думала она, глядя в окно на двор, где дворник Федот размеренно скреб лопатой уже обледенелые дорожки. – Почему мне хочется назад, в тот класс, где все было predetermined: звонок, урок, вопрос, ответ? Где тебя не спрашивали: «А кто ты, собственно, такая?»»

Через неделю молчания Вера все же оставила у Федота сложенную записку – он был связным не только между жиль-

цами, но и со сторожем из дома Аросимовых на углу Остоженки, и за трешку брался передать что угодно.

«Спасибо. У меня – нормально. А у отца как, если не секрет? В.»

Сережа ответил через два дня:

«Плохо. Сердце, как говорит доктор, «изношено». Но держимся. Спасибо, что спросила. Это много значит. С.»

Потом – снова молчание. Месяц, другой. Разговор иссяк, как ручей в летнюю засуху.

Однажды, лежа с толстовским «Воскресением» под подушкой (Анна Семеновна, поджав губы, сказала, что «девицам такое читать не по чину», и книгу пришлось доставать через знакомую из педагогического класса), Вера думала о Катюше Масловой.

«Ее не спросили. В шестнадцать лет ее соблазнили и бросили – и с тех пор каждый шаг был не выбором, а выживанием. Чистота не спасла. Невинность не защитила. Мир вышвырнул ее на самое дно не за грех, а за беспомощность. А если я откажусь от «благоразумного замужества», выберу курсы, одиночество, труд – будет ли у мира для меня иная участь? Или то же самое дно, только прикрытое ковром из книг и благопристойности?»

Она перечитала страницы, где Нехлюдов вспоминает свои отношения с Катюшей, и вдруг с острой ясностью поняла: Толстой не о ней. Толстой о нем. О мужчине, который может позволить себе роскошь покаяния. А у Катюши выбора нет

– только идти по этапу.

Вера закрыла книгу и долго смотрела в потолок, где керо-синовая лампа отбрасывала дрожащие тени.

А затем, в один из вечеров, она взяла с полки Достоевско-го – «Записки из подполья». Читала жадно, с горьким, почти болезненным узнаванием. «Я-то один, а они все», – повторяла она про себя строчку, помня ее смутно, по смыслу, а не по букве, и в этой фразе умещалось все ее состояние последних месяцев.

«Да, я – странная, – подумала она, закрывая книгу. – Но я – это я. И, черт возьми, этого должно быть достаточно для начала».

Бывшие одноклассницы присылали записки, их приносил тот же Федот. Вера перебирала листки, пахнущие духами и чернилами, и каждый раз внутри шевелилось раздражение.

– *«Собираемся у Нади в субботу. Приходи! Будет чай с баранками и мазурка под граммофон. Надя обещала показать новые открытки из Парижа».*

– *«На благотворительный вечер у Костроминых – там будут сыновья фабрикантов. Один, говорят, очень интересный, с наследством. Мать велит мне быть прилично одетой. А твое голубое платье еще носится? Приходи, посмотрим вместе».*

– *«Приходи в Исторический музей – будет лекция для вольнослушательниц Женских курсов. Тема: «Реформа Петра Великого и ее влияние на русское просвещение».* Вход сво-

бодный, но места занимать заранее».

– «Или просто чай у нас – может, познакомишься с кем? Друг брата Миши приезжает из Питера, он инженер путей сообщения. Мама говорит, очень перспективный молодой человек».

Вера отвечала всем одинаково вежливо и одинаково уклончиво:

«Спасибо за приглашение, но, к сожалению, не могу. Много занятий. Готовлюсь к курсам».

На самом деле она гуляла в одиночестве, предпочитая обществу людей – общество города. Это было дешевле (стоило только время) и честнее. Она доходила пешком до Охотного Ряда, садилась на конку – пять копеек в один конец – и ехала до Арбатской площади, а оттуда шла пешком, разглядывая витрины, вывески, лица.

У площади жизнь бурлила по-иному. Извозчики перекрикивались, торговки с лукошками наперебой зазывали покупателей: «Пирожки с ливером! Горячие, с пылу с жару!», чиновники в вицмундирах спешили по делам, шурша портфелями, городской в башлыке лениво помахивал жезлом. Все это мельтешение казалось ей огромным, слаженным механизмом, в котором каждый винтик знал свое место. А она, с аттестатом в шкатулке и пустотой в груди, была лишней, запасной деталью, для которой пока не нашлось паза.

На Пречистенском бульваре, на той самой скамейке, где они когда-то занимались с Ильей математикой, она подолгу

сидела, наблюдая за студентами. Они собирались кучками, спорили яростно, размахивая руками, – о Ницше, о Марксе, о последних номерах «Русского богатства». Иногда спор переходил в крик, иногда – в дружный хохот. Вера слушала издалека, впитывая эти голоса, эти слова, этот воздух молодости, к которой она не принадлежала, но которая манила неодолимо. Ей казалось, что там, в этих спорах, в этом общем деле, есть настоящая жизнь, а не тоскливое ожидание замужества и чай с баранками у Нади.

В последний такой раз ее заметили. Кто-то из компании – в расстегнутой шинели, с жидкой, еще по-юношески негустой бородкой клинышком – кивнул в ее сторону, и говор разом стих. Несколько голов повернулось, и секунду они молча рассматривали ее – пристально, оценивающе, как диковинку. Потом бородатый, не повышая голоса, спросил: «Не замерзли, барышня?» – и добавил, усмехнувшись: «Шли бы к нам, у нас весело». Кто-то из компании хмыкнул, другой толкнул соседа локтем, но криков не последовало.

Они не вставали, не настаивали – просто смотрели и перешептывались, чувствуя свою правоту: девушка одна, на скамейке, смотрит на студентов – значит, можно. И в этом «можно» было все – и демонстративная свобода, и привычка считать себя центром вселенной, и та самая уверенность в своей правоте, которая делала их хозяевами положения, а ее – лишь предметом для наблюдения.

Вера подобрала сумку, не поднимая глаз, и медленно по-

шла прочь. За спиной еще слышалось приглушенное перешептывание, смешок, но никто не крикнул вдогонку. Ее уход не был бегством – он был признанием того, что ей здесь не место. Она шла, чувствуя, как горят щеки, и впервые за долгое время благословляла холодный ветер, который помогал держать спину прямой.

Она свернула в сторону храма, сама не понимая зачем – может, чтобы согреться, может, чтобы спрятаться. Там было тепло, там пахло ладаном и воском, и там же, в пустом приделе, можно было стоять незаметно у колонны, слушая, как хор взмывает под купола – мощно, стройно, как одна огромная душа. Священники в золотых ризах казались фигурами из другого века, их голоса, глубокие и ровные, не спорили, не кричали, не делили мир на своих и чужих. Эта красота, даваемая даром, пронзала до слез. И Вера уходила успокоенная, будто очистившаяся от накипи будней, но ненадолго – до следующего раза, когда тоска снова прижимала ее к скамейке на бульваре или к холодному мрамору колонны.

За ужином, перебирая белье, мать сказала негромко, как будто сообщая погоду:

– У Аросимовых, слышала, теперь кредит в банке под залог лавки. Если к Пасхе не потянут – продадут с молотка. Говорят, купцы на Остоженке уже шепчутся, ждут аукциона.

Они помолчали. Вера смотрела, как мать ловко продевает нитку – даже в сумерках, при скудном свете лампы, ее пальцы не знали промаха.

– А Сережа... он тебе пишет? – спросила мать, не поднимая глаз от штопки.

– Пишет. Иногда. Спрашивает, как дела.

– А ты?

– Отвечаю. Коротко.

Мать сделала еще несколько стежков. Игла блеснула в свете лампы.

– Он мальчик умный. И... прямой. Честный. – Она сделала паузу, подбирая самое важное. – И он... видит тебя. Не платье, не прическу. А именно – тебя.

Вера не ответила. Ее сердце не забилося чаще от любви – оно жалось от страха перед выбором. «А что, если это – он? Мой шанс на нормальную, теплую, защищенную жизнь? Что, если я, гоняясь за призрачной самостоятельностью, упускаю его?».

– Мама, – сказала она твердо, глядя в стол, – я не хочу, чтобы обо мне думали как о потенциальной невесте. Как о вещи, которую можно получить.

– А как же о тебе думать? – мягко, почти с грустью спросила Лидия Григорьевна. – Ты же не книга на полке. Не математическая задача. Ты – живая девушка. У тебя ум взрослой женщины, а жизнь... жизнь твоя еще не началась по-настоящему. А жизнь начинается там, где ты не одна. Где есть двое.

Вера ушла в свою комнату, в тишину, где только ангел с обломанным крылом был ее собеседником. В дневнике она

вывела:

«Я не хочу выбирать: быть или книгой, или задачей, или девушкой. Я хочу быть всем этим сразу. И хочу сама решать – в какой пропорции».

В конце октября, в серый ветренный день, Вера зашла в мелочную лавку на углу Остоженки – матери нужны были нитки, а свои кончились. В лавке пахло керосином, селедкой и мылом, за прилавком скучал подслеповатый приказчик. Вера уже выбрала катушки, когда дверь звякнула колокольчиком и вошел Сережа.

Он был в студенческой темно-зеленой шинели, с фуражкой в руке – видимо, забежал на минуту от отца. Увидев Веру, на мгновение замер, потом улыбнулся – той самой легкой, открытой улыбкой, от которой у нее когда-то теплело внутри.

– Вот так встреча, – сказал он просто. – Ты здесь как?

– Нитки маме покупаю, – ответила Вера, чуть отступая к прилавку, словно ища защиты у стеклянных банок с леденцами.

Сережа кивнул, бросил взгляд на ее покупки, потом на приказчика, который деликатно отвернулся, делая вид, что перебирает счета.

– А я за солью. Отец послал, в лавке наша кончилась, а покупатели приходят. – Он усмехнулся. – Курьер, а не студент.

Помолчали. Где-то на улице прогрохотала телега, звякнула конка. Сережа вдруг спросил тише, без улыбки:

– Ты как вообще? Я писал, но ты не отвечаешь долго. Я понимаю – дела, курсы. Просто интересно.

Вера чуть заметно выдохнула – он не ждал ничего, не намекал. Просто спросил.

– Нормально, – ответила она. – Уроки, подготовка. Времени мало.

Он кивнул, принимая.

– А у меня – сам знаешь. Университет, лавка, отец болеет. Жизнь, в общем. – Усмехнулся краем рта. – Встретимся когда-нибудь не за солью, что ли. Но это уж как выйдет.

Приказчик кашлянул, поглядывая на них поверх очков. Сережа шагнул к прилавку, пропуская Веру к выходу.

– Передавай маме привет, – сказал он просто. – И береги себя.

– И ты, – ответила Вера и вышла, не оборачиваясь.

На улице было свежо, ветер задувал за воротник, пахло прелыми листьями, дымом и первым морозцем. Она зашагала к дому, и только через полквартила поймала себя на мысли, что внутри – спокойно. Ни вины, ни тревоги, ни сожаления. Встреча была. Поговорили. Разошлись. Все правильно.

*

Прошло еще несколько дней тишины, шитья и подсчетов. Наконец, за ужином, она положила ложку и сказала четко, как зачитывают манифест:

– Мама. Я решила. Осенью буду подавать документы на Женские курсы.

Лидия Григорьевна не оторвалась от шитья. Спросила с практической, убийственной прямоотой:

– А после них – что?

– Буду учительницей в гимназии. Или... переводчицей в каком-нибудь издательстве.

– А кто возьмет на работу девушку без связей, без протекции? – тихо, будто извиняясь, спросила мать. – Я в твои годы тоже верила, что умение – это пропуск. Отдала последние деньги за уроки у лучшего танцмейстера в Одессе. Меня взяли в театр, у меня были свои ученицы... Я думала: вот он, мой капитал. Потом я вышла замуж и переехала сюда. А через несколько лет умер твой отец. И весь мой «капитал» испарился. Все спрашивали: «Без мужа – кто вы такая? Бывшая артистка? Учительница танцев?» Никто не спросил: «А вы – человек?»

Она помолчала, вдевая в иголку новую нитку. Потом, уже без горечи, с усталой мудростью:

– Курсы – это хорошо. Правильно. Но хлеб – не книга. На одних знаниях не наешься.

– Я буду зарабатывать сама, – упрямо повторила Вера. – Могу давать уроки. Мы можем шить вместе, брать больше заказов.

Мать задумалась. Потом, осторожно, как выкладывая на стол последние козыри:

– У Марьи Ивановны с первого этажа дочь – не может написать сочинение про Базарова в выпускном классе. Стыд-

но. Может, сможешь? И у Тани, со второго, племянник – совсем не понимает историю.

– Сколько брать?

– Начни с полтинника в час. Пусть привыкнут, увидят результат. Если понравится – сами предложат больше.

Так началась ее карьера репетитора. Четыре ученика. Два часа в неделю каждый. Сочинения о нигилизме, даты Бородинской битвы, упражнения по грамматике и изложению мыслей в письме.

Первый урок был у дочери Марьи Ивановны, Катеньки, толстой, застенчивой девочки лет четырнадцати, с вечно мокрыми от волнения ладошками. Вера надела свое самое новое, серое платье с высоким воротником. Но, поймав свое отражение в зеркале, вздохнула и полезла в комод за старым корсетом матери, который она уже надевала однажды на тот единственный бал.

Тело, привыкшее к свободе движений и полному дыханию, сопротивлялось, но разум был непреклонен: «Ты идешь не как Вера, а как Вера Петровна, репетитор. Тебе нужна форма. Броня».

Корсет слегка стянул талию, выпрямил спину. Поверх легло платье, которое шили без корсета, по ее обычным меркам. И теперь, когда талия стала тоньше, между тканью и телом осталось немного воздуха – платье сидело свободно, не облекая, а лишь намекая на фигуру. Вера посмотрела на себя в зеркало: строгая, подтянутая, чужая. «Ну что ж, – подумала

она, – это роль. Буду играть».

Вера спустилась по лестнице, осторожно ступая, чтобы не оступиться на стертых ступенях. Дверь открыла сама Марья Ивановна – полная блондинка в кружевном чепце, пахнущая духами «Брокар».

– Ах, Вера Петровна, проходите, проходите! Мы так рады! Катенька, иди скорей, учительница пришла!

Вера вошла в комнату. Тяжелая мебель под орех, салфетки на всех поверхностях, икона в углу с лампадкой. Катенька сидела за столом, красная как рак, теребя в руках платок.

Урок прошел хорошо. Вера говорила спокойно, терпеливо, разбирая с Катенькой образ Базарова. Девочка сначала робела, но постепенно осмелела и даже записала под диктовку целую страницу. В конце, выводя в тетради: *«Базаров благороден, потому что не лжет даже себе»*, Катенька подняла глаза:

– А вы правда так думаете, Вера Петровна? Или это для урока?

Вера замерла. Потом улыбнулась – впервые за долгое время настоящей, теплой улыбкой.

– Правда. Но я думаю еще вот что: Базаров благороден в своем отрицании, но, отрицая любовь и искусство, он отрекся от половины мира – и от половины себя. Можно ли быть цельным, так себя ограничив? Это вы подумайте сами. На следующем уроке поговорим.

Катенька кивнула, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.

Марья Ивановна, проводив Веру до двери, вручила полтинник – теплую, чуть влажную монету – и, уже в дверном проеме, вежливо, но недвусмысленно заметила:

– Вы очень умно объясняете, Вера Петровна. Но, знаете... платье ваше – оно немного... слишком свободного покроя. Для учительницы.

– Благодарю вас, – ровно ответила Вера. – Я учту ваше замечание.

Дома, сбросив корсет как ненужные доспехи после короткой, выигранной стычки, она долго стояла у окна. Мимо, по устланному желтыми листьями переулку, шла студентка в коротком, удобном пальто и без шляпы. Свободная. Вера смотрела ей вслед, пока фигура не скрылась за поворотом.

«Она не дает уроков в домах, где за твоей свободой следят, как за нарушением устава, – подумала Вера. – Но, возможно, у нее и нет этих уроков. Есть что-то другое. Что?»

Свободных денег набиралось немного. Вера завела тетрадочку в клетку, куда записывала каждый заработанный рубль.

«Ноябрь 1901: Катенька – 4 занятия = 2 рубля. Петя (племянник Тани) – 3 занятия = 1 рубль 50 копеек. Всего 3 рубля 50 копеек».

Деньги таяли сразу: гривенник – на бумагу, пятак – на леденцы, чтобы иногда побаловать мать к чаю. На конку ста-

ралась не тратить – ходила пешком, даже если ученики жили далеко. Но иногда, когда опаздывала или шел ливень, приходилось раскошелиться на пять копеек, и это больно било по бюджету.

Вскоре прибавились новые ученики – двое мальчиков из мещанской семьи на Плющихе, которым нужна была помощь с русским языком: чистописание хромало, диктанты писали с ошибками, а в гимназии требовали уже и изложения. Еще одна ученица, гимназистка третьего класса, с которой занимались литературой, сбежала после двух уроков – ее мать решила, что «девушке ученость ни к чему, лишь бы замуж выйти». К середине зимы у Веры осталось трое постоянных: Катенька, Петя и толстый застенчивый гимназист Сеня, который никак не мог запомнить даты русско-турецкой войны и путал Александра II с Александром III.

Вера вела скрупулезный учет, выводя столбики цифр при свете керосиновой лампы:

«Декабрь: Катенька – 4 занятия (2 р.), Петя – 3 занятия (1 р. 50 к.), Сеня – 4 занятия (2 р.), еще двое разовых – 1 р. Итого 6 р. 50 к.»

В январе, после праздников, ученики приходили вялые, с трудом возвращаясь к учебе. Катенька проболела две недели, Петя уехал с матерью в гости к родственникам. Заработок упал: январь принес всего три рубля с мелочью.

А февраль наступил пустой, как выстуженная комната. Началась масленичная неделя – и на занятиях теперь можно

было ставить крест. Ученики, даже самые прилежные, в эти дни думали только о блинах, катаниях с ледяных гор и балаганах на Новинском бульваре. Вера перебирала свою тетрадочку, но видел одно и то же: пустые строки. Уроков не было. Доходов тоже.

Но Масленицу они с мамой все-таки отмечали – по-своему, тихо, без размаха, но с тем теплом, которое не купишь за деньги. О блинах с икрой и сметаной, что подавали в богатых домах, оставалось только мечтать. Но мама заводила тесто на гречневой муке – простой, духмяной, и пекла на старой чугунной сковороде тонкие, почти прозрачные блины. Вера разводила брусничное варенье кипятком – так выходил сладкий соус, – и они садились вдвоем за стол у запотевшего окна, за которым кружила редкая февральская поземка.

– Ничего, – говорила мать. – В марте одумаются, к весенним экзаменам готовить надо будет. А пока... пока будем тянуть.

А когда после масленицы Москва заговорила о петербургском бале, Вера слушала эти разговоры с особенным, горьким любопытством. Говорили, что в Зимнем дворце давали бал-маскарад – все в костюмах времен царя Алексея Михайловича, в боярских шубах и кокошниках, унизанных жемчугом. Сам царь – в парчовом опашне, царица – в древнем венце. Говорили, Шаляпин пел, танцевали до утра, и на всех было столько бриллиантов, сколько Вера за всю жизнь не видела даже на картинках.

– А графиня Воронцова-Дашкова, слышали? – щебетала в очереди за керосином какая-то купчиха. – Нарочно из Москвы ездила, платье заказывала – говорят, три тысячи. А княгиня Юсупова – та вся в драгоценных камнях была, как икона...

Вера слушала и думала: три тысячи. Сорок лет моих уроков. Двадцать лет маминого труда. И все это – чтобы один вечер походить на боярыню, которой никогда не существовало».

Изредка, отложив несколько копеек «на воздух», она заходила в подвальный зал на Никольской, где за 5 копеек показывали «движущиеся картинки». Вход был с улицы, мимо афиши, на которой яркими красками был нарисован человек, летящий на ядре. Мальчишка-контролер, прихрамывающий, в чужом пиджаке, быстро оглядывал ее: «Одна?» – и, получив молчаливый кивок, отрывал узкий бумажный билетик.

В зале было темно, пахло керосином от проектора, сырой одеждой и дешевым табаком. Вера садилась на задние скамьи – там было дешевле и меньше чада. Когда свет гас и на экране начинали мелькать тени, она замирала. «Путешествие на Луну» Мельеса смотрела два раза. Ученые в чугунном снаряде, выстреленном из гигантской пушки, летели прямо в глаз Луне, и этот насмешливый, гипнотический взгляд Луны преследовал ее потом во сне. Мир мог быть другим. Не таким, как эта комнатка, не таким, как наставления

Марьи Ивановны, не таким, как вечный стук швейной машинки. И этот простой факт давал сил на неделю вперед.

Потом – снова снег, скрип полозьев, уроки, монотонный стук «Зингера», строчки в книгах.

Однажды, в порыве острого одиночества, она написала на клочке бумаги:

«Сережа, может, ходим в биоскоп? В.»

Подержала в руках. Ладони, вопреки холоду в комнате, стали влажными.

Она смотрела на эти несколько слов и вдруг увидела их глазами Сережи – увидела надежду, которую они могли в нем зажечь. Он и так уже смотрел на нее на балу «иначе». Она для него сейчас – ниточка к прежней, светлой жизни, к тем временам, когда они втроем гуляли по бульварам и смеялись над пустяками. И оборвать эту ниточку, послав записку с приглашением, было бы жестоко – даже если очень хочется просто увидеть дружеское лицо, просто услышать чей-то голос, не имеющий отношения к урокам, шитью и подсчетам.

«Я не могу, – подумала она с тоской и злостью на себя. – Не могу сейчас ни с кем сблизиться. Ни с ним, ни с...»

Она медленно, аккуратно свернула листок в тугую трубочку. Подошла к печке, приоткрыла заслонку. Огонь жадно лизнул бумагу, почернел, съел слова, оставив пепел.

«Прости, Сережа, – подумала она. – Не сейчас. Может быть, потом. Когда я стану тем, кем хочу стать. Тогда и поговорим».

Вопрос остался. Но выбор был сделан.

*

В Румянцевскую библиотеку она ходила по-прежнему – это был ее воздух, ее окно в мир, где она была не просто дочерью, не просто репетитором, а читателем, равным среди равных. Иногда, предвкушая долгие вечера, брала книги сразу стопкой, чтобы растянуть удовольствие надолго.

Взяла «Историю одного города» – чтобы посмеяться над абсурдом, сквозь который иногда проступал ужас.

Снова взяла «Отцов и детей» – чтобы безответно спросить: «Базаров, вы хотели быть свободным от всего – но остались в плену у собственного одиночества. А есть ли иной путь к свободе?»

Взяла «Обломова» – чтобы с тревогой понять: «А что, если во мне тоже живет эта страшная апатия, это желание лечь на диван и позволить жизни течь мимо?»

И еще – «Сказки» Пушкина, «Историю России» Соловьева (пятый том, самый потрепанный) – для подготовки к курсам, и «Семейную хронику» Аксакова – чтобы с щемящей грустью вспомнить: «У других людей есть корни, родовое гнездо, предание. А у меня – только я сама. И память об отце, который тихо кашлял в соседней комнате».

Неподалеку от библиотеки, у уличного лотка, она купила коробочку монпансье от «Эйнама» – двадцать копеек. За несколько дней можно было рассосать по одной, растягивая удовольствие, – с чаем или просто так, чтобы почувствовать

сладость во рту.

– Чтобы не чувствовать себя совсем уж затворницей, – сказала она вслух прохладному воздуху и сама неожиданно улыбнулась. Это был маленький, сладкий акт сопротивления суровой аскезе будней.

В другой день, на светлых известняковых ступенях библиотеки, она увидела Илью.

Был уже апрель, снег сошел, мостовые подсохли, и над Москвой стоял тот особый, прозрачный воздух, который бывает только перед первой зеленью. Студенческая тужурка сидела на нем ладно, подчеркивая широкие плечи и прямую спину. Фуражку с синим околышем он держал в руке – ветра не было, солнце днем припекало почти по-летнему, и волосы на висках чуть золотились. Форменное пальто он перекинул через сгиб левой руки. Под мышкой другой руки торчал толстый том в твердом переплете – судя по корешку, анатомический атлас.

Вера замедлила шаг. Сердце стукнуло раз, другой – и замерло в ожидании.

Он поднял голову, увидел ее. На мгновение в его лице мелькнуло что-то неуловимое – не удивление, не радость, а скорее узнавание, как будто он ждал этой встречи и одновременно боялся ее.

– Здравствуй, – сказала Вера, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

– Здравствуй, – ответил он, слегка кивнув.

Пауза. Та самая, тяжелая, насыщенная, как воздух перед грозой. В ней было все: несостоявшийся бал, распустившийся и увядший союз, дороги, разошедшиеся под острым углом.

– Как дела? – спросила Вера.

– Нормально. Первый курс кончаю. А у тебя?

– Тоже нормально. Готовлюсь к курсам. К будущему году.

Он снова кивнул, и в этом кивке было что-то от прежнего Ильи – сдержанного, молчаливого, но внимательного.

– Тяжело? – спросила Вера, сама не зная, зачем спрашивает.

– Тяжело, – признал он просто. – Латынь, анатомия, химия. Но... интересно. Когда начинаешь понимать, как устроено тело, как работают мышцы, сосуды, нервы, – мир становится... понятнее, что ли. Закономернее.

– Ты всегда хотел понимать, как устроен мир, – тихо сказала она. – Теперь будешь понимать, как устроен человек.

Он чуть заметно усмехнулся – той самой внутренней усмешкой, которую она помнила по их занятиям.

– Человек устроен сложнее, чем мир. Мир можно описать формулами. А человека... человека надо лечить. Или хотя бы не навредить.

Помолчали. Где-то вдалеке редко и размеренно зазвонил колокол – должно быть, звали к Часам.

– Ну, я пойду, – сказала Вера, перехватывая книги поудобнее. – Уроки ждут.

– Удачи, – коротко ответил он.

Она кивнула и пошла вниз по ступеням, чувствуя спиной его взгляд. На углу, перед тем как свернуть, она оглянулась. Илья стоял все там же, смотрел ей вслед, но, встретившись глазами, тут же отвернулся к своей книге.

Дома, в дневнике, под очередной датой, она написала без эмоций, как протокол:

«2 апреля. Встретила Илью у библиотеки. Он – студент-медик, первый курс. Сказал: «Дела нормально». Я сказала то же самое. И поняла: он уже – там. В своем будущем. А я все еще – здесь. В ожидании своего».

Тем же вечером, возвращаясь с репетиторства, Илья долго стоял на углу Мясницкой и Лубянки, дожидаясь конки. Но, прикинув в уме, что пять копеек до Остоженки – это два фунта хлеба, махнул рукой и пошел пешком вниз по Театральному проезду, затем по Моховой на Волхонку и дальше вниз. Сапоги хлюпали по апрельской слякоти – запоздалая зима никак не хотела отступать, то и дело превращая улицы в месиво. На всем пути горели привычные желтые газовые фонари, дробясь дрожащими бликами в бесчисленных лужах. Шел быстро, размашисто, спасаясь не столько от холода, сколько от мыслей, которые гнал от себя весь вечер.

В Малом Левшинском переулке, в доходном доме построенном еще в середине прошлого века, его ждала комната 10. «Десятая палата», – мысленно называл он ее, с горьковатой иронией будущего врача.

Дом был обычным, каких много в Хамовниках и в Замоскворечье – без претензий, с облупившейся штукатуркой, с чугунной лестницей, на которой перила шатались, если опереться. Внизу помещалась мелочная лавка, пахнувшая селедкой и керосином, по вечерам ее закрывали тяжелым ставнем.

Илья поднялся на второй этаж и открыл дверь, ведущую в меблированные комнаты. В длинном коридоре, освещенном одной тусклой керосиновой лампой под потолком, пахло щами, дешевым табаком и старой одеждой. Из-за дверей доносились звуки чужой жизни: глухой, надсадный кашель бухгалтера из девятой, приглушенный спор студентов-технологов из двенадцатой («Ты Маркса не понял, он про прибавочную стоимость... – А ты цену на сахар в лавке видел? Вот тебе и прибавочная стоимость!»). А в одиннадцатой, где жила молодая вдова Полина Сергеевна, работавшая наборщицей в типографии, было тихо – после двенадцатичасовой смены она, видимо, уже спала, накрутившись за день до звона в ушах от типографских машин.

Десятая палата была узкой, шагов пять в длину и три в ширину. Железная кровать с тощим матрасом, застеленная по-солдатски строго. У изголовья – этажерка, главное его богатство: анатомический атлас, купленный по случаю у студента-выпускника, стопка учебников, тетради, перевязанные бечевкой. На отдельной полке – художественные книги, не имевшие отношения к учебе. Они стояли отдельно, как личное, неприкосновенное.

В углу – умывальник с жестяной раковиной, на стене – маленькое, слегка мутное по краям зеркало. У окна – стол, заваленный тетрадами, чернильница-непроливайка, огарок свечи в подсвечнике. Керосинку жег только по необходимости – керосин дорожал, а свечи можно было растянуть, если читать не больше двух часов.

Двенадцать рублей в месяц – за эти деньги хозяйка давала только угол. Ни стирки, ни еды, ни чая. Стирал сам, по воскресеньям, в тазу в подвале, где для жильцов была устроена прачечная – цементный пол, две колонки с холодной водой и ржавый бак, в котором он грел воду, если были лишние дрова.

С едой приходилось изворачиваться. Некоторые жильцы договаривались с хозяйкой о «столе» – завтрак и ужин отдельно, рублей девять-десять в месяц. Илья прикинул в первый же месяц после переезда сюда: из его двадцати пяти – тридцати рублей отдать двенадцать за комнату и еще десять за еду – значит остаться с тремя рублями на все про все. А еще конка, керосин, бумага, мыло, зубной порошок, редкая починка обуви. Не выходило.

Когда успевал между лекциями и уроками, ходил в студенческую столовую – там за двадцать копеек давали щи с мясом и жаркое. А когда не успевал или хотел сэкономить, готовил сам на общей кухне. Плита была одна на всех, жильцы скидывались на дрова и керосин сообща – и каждый сам следил, чтобы сосед не сожрал углей больше положенного.

Он научился простейшему: варил в мундире картошку, жарил яйца, если удавалось купить десяток на толкучке. За более сложное не брался – боялся испортить и без того скудные продукты. Получалось не всегда – то подгорит, то пересолит. Но голодным не оставался.

Сегодняшний урок был у сына купца второй гильдии на Мясницкой. Купец держал галантерейный магазин, жил в собственном доме – с мезонином, с аляповатой лепниной, с тяжелой мебелью «под дуб» и обязательной иконой в углу с лампадой. Мальчик – неглупый, но избалованный и ленивый, с сонными глазами и привычкой откладывать все на завтра.

Илья объяснял словообразование глагола *ferre*– нести. Он не заставлял зубрить – он выстраивал логическую карту языка, показывая, как от одного корня расходятся значения, как грамматика повторяет механику действия, как язык подчиняется тем же законам, что и природа. Он вкладывался без остатка – не из желания угодить купцу, не ради лишнего рубля, а потому что иначе не умел. Честная работа была его единственной незыблемой валютой, его щитом и оправданием.

В какой-то момент, пока ученик корпел над упражнением, скрипя пером и шевеля губами, взгляд Ильи машинально ушел в окно. За стеклом густели апрельские сумерки, фонари на Мясницкой уже зажглись, и в их желтоватом свете мокрая мостовая отблескивала, как темное зеркало. Извоз-

чики проезжали редкой вереницей, где-то вдалеке прогротала конка.

И внезапно, без всякой связи, без всякого усилия, сознание выдало четкий, почти тактильный образ. Не ее лицо – хотя оно, конечно, весь день стояло перед глазами. А событие. Падение. Всплеск снега. Молчание. И затем – удар. Точно рассчитанный, ясный, как вывод в физической формуле. Книга, угол томика Толстого, глухой стук о скулу. Не эмоция, не обида, а факт. Факт радикального нарушения всех предписанных сценариев.

Он моргнул, отгоняя наваждение. Ученик поднял на него вопрошающий взгляд, запнувшись на середине фразы. Илья, не меняя выражения лица, тем же ровным, методичным голосом вернулся к схеме:

– Ты пропустил здесь связку. Смотри. *Ferre*– не просто «нести». Это основа, корень. Отсюда: *affero*– приносить, *aufero*– уносить, *confero*– собирать. Понимаешь механику? Приставка меняет направление, а основа остается. Как в физике: вектор меняется, сила – та же.

Ученик закивал, но Илья уже не видел его. Внутри что-то щелкнуло, встало на место, как кость, вправленная опытным костоправом. Это воспоминание не было ностальгическим – он вообще не позволял себе такой роскоши. Оно было как находка важного документа в архиве, меняющего контекст всей текущей работы. Он не подумал «я скучаю» – это было бы слишком просто и слишком непозволительно. Он поду-

мал иначе, сухо и точно: «Она есть. В этом же городе. И она, с ее упрямством, с ее книгами, с ее достоинством, наверняка так же методично, с тем же ледяным терпением пробивает себе дорогу сквозь толщи чуждых ей условностей».

Это знание не согрело – согреть было нечем и незачем. Оно лишь оттенило пустоту этой богатой, но безвкусной гостиной, сделало еще очевиднее пропасть между его миром и этим. Но в этой пустоте теперь маячила точка отсчета. Не надежда – он не позволял себе надеяться. А ориентир. Явление, которое однажды доказало: возможен иной порядок вещей. Порядок прямой реакции, не опосредованной ритуалом. И этого осознания было достаточно, чтобы продолжить объяснять латынь с тем же безжалостным, абсолютным терпением.

Урок кончился. Купеческий сынок, с облегчением захлопнув тетрадь, убежал к ужину, от которого несло жареной рыбой и мочеными яблоками. Купчиха, грузная, в шерстяном платье с брошкой, отсчитала Илье рубль с четвертаком – на пятнадцать копеек больше обычного. «За усердие», – сказала, глядя куда-то мимо.

Илья поблагодарил, спрятал деньги во внутренний карман тужурки, где уже лежали еще полтора рубля с сегодняшних занятий у других учеников. Всего два рубля семьдесят пять копеек за день. Апрель – месяц хороший, спрос на уроки растет: скоро экзамены в гимназиях, родители хватаются за голову. Но и у самого сессия на носу, времени в обрез. При-

ходится выбирать: где-то отказать, где-то перенести, чтобы и самому успевать повторить.

Выйдя на Мясницкую, он вдохнул влажный апрельский воздух. В кармане лежала заветная тетрабочка с расходами. Он уже прикидывал в уме, раскладывая по полочкам: стипендия в этом месяце пришла восемнадцать рублей – спасибо собственному упрямству и учебникам, без стипендии он бы не вытянул. Уроки набегут еще рублей двенадцать-пятнадцать, если повезет и если успевать между лекциями. Итого около тридцати. Минус двенадцать хозяйке за комнату, минус рубль матери в Егорьевск – это святое, каждый месяц, без разговоров. Остается семнадцать. На еду, керосин, бумагу, мыло, редкую конку или трамвай – надо уложиться в рубль в день, тогда к концу месяца даже пара рублей останется на непредвиденное.

Матери он отправлял не много – рубль, иногда два, если месяц выдавался урожайным. Он посылал ей деньги не от нужды – она не просила, да и не нуждалась остро. В последнем письме она писала: *«Макар Тихонович отошел в марте. Царствие ему небесное. Мы с Натальей Семеновной теперь вдвоем, она все спрашивает: Как там Илюша? – так и ждет твоих писем. Ты, сынок, деньги трать на себя, у нас тут все слава Богу».*

Уже дома, поздним вечером, пока он сидел над учебником, керосинка вдруг замигала, пожелтела, и фитиль начал чадить – кончилось горючее. Илья чертыхнулся прол себя:

забыл купить днем, а лавка уже закрыта. Свечи тоже закончились. Без света сидеть нельзя – завтра к восьми утра нужно сдавать коллоквиум прозектору Алтухову по остеологии, а в голове до сих пор путаница: где *tuberculum*, где *condylus*, где *processus*.

Он вздохнул, натянул тужурку поверх рубашки и вышел в коридор – может, у кого-то из соседей найдется отлить до завтра.

В длинном полутемном коридоре пахло щами и сыростью. Из-за дверей доносились привычные звуки: глухой кашель бухгалтера из девятой, приглушенный разговор студентов-технологов из двенадцатой. Илья уже собрался постучать к ним, как вдруг дверь комнаты 11 приоткрылась и в коридор выскользнула Полина Сергеевна.

Она была в темном ситцевом халате, накинутом поверх ночной рубашки, и в руках держала пустой чайник – видимо, собиралась на кухню за кипятком из общего бака, что стоял на плите день и ночь. При свете тусклой коридорной лампы Илья разглядел ее лицо: бледное, с резкими тенями под глазами – верный признак того, что день выдался долгим. Волосы убраны под простую косынку, из-под которой выбились пряди, на висках чуть влажные – то ли после умывания, то ли от усталости.

Она подняла на него глаза – голубые, глубоко посаженные, с той особенной усталостью, какая бывает у людей, которые целыми днями вглядываются в мелкий шрифт при ис-

кусственном свете. И еще: пальцы, сжимающие ручку чайника, были в темных пятнах – свинцовая пыль въелась в кожу вокруг ногтей, и даже мытьем это не отмывалось до конца.

– Извините, – сказал Илья коротко. – Керосин кончился. Не найдется немного отлить до завтра?

Она замерла на мгновение, будто обдумывая, потом молча кивнула, приглашая за собой. Илья ждал у порога, пока она возилась у своего шкафчика. Комната у нее была такая же узкая, как у него, но чувствовалось, что здесь живет женщина: на крючке у умывальника – вышитое полотенце, на подоконнике – герань в горшке, на столе – аккуратная стопка книг и бумаг.

Полина Сергеевна достала жестяную банку, протянула ему. Он поблагодарил, вернулся в свою «десятую палату», долил керосин. Вернул ей посуду, полез в карман за монетой:

– Сколько я должен?

Она качнула головой, и в этом жесте было что-то почти сердитое – не на него, а на самую необходимость считать копейки между своими.

– Не надо. У меня муж тоже студентом был. – Голос у нее оказался тихий, чуть хриловатый, с той особенной интонацией, какая бывает у людей, привыкших говорить вполголоса среди грохота типографских машин. – Я знаю, как это бывает.

Илья помялся, пряча пятак обратно в карман. Сказать что-то еще было неловко. Но молча уходить – тоже.

– Вы поздно сегодня, – заметил он, кивая на чайник. – Со смены?

– С дневной, – ответила она просто. – С шести утра до восьми. Сейчас только чайник поставлю, хоть немного посплю. – Она слабо улыбнулась, и в этой улыбке вдруг мелькнуло что-то молодое, почти девичье, несмотря на бледность и усталость. – А вы все учитесь? Я иногда вижу свет – у вас лампа далеко за полночь горит.

– Экзамены скоро, – коротко ответил Илья. – Osteологию сдаем. Кости.

– Кости? – она чуть приподняла бровь, и в глазах мелькнуло любопытство. – Это как у святых мощей? Или по-настоящему?

Илья невольно усмехнулся уголком рта – неожиданный вопрос.

– По-настоящему. В анатомическом театре. – Он помолчал. – Там все равны. И богатые, и бедные. Только кости.

Она кивнула, будто поняла что-то свое.

– Что ж, это справедливо. Хоть где-то равенство.

Повисла короткая пауза – не неловкая, а та особая, вежливая тишина, когда люди, живущие рядом, но почти не знающие друг друга, вдруг встречаются в неурочный час и обмениваются парой фраз, которые ничего не значат, но почему-то запоминаются.

– Ну, спасибо, – сказал Илья. – Завтра верну.

– Не торопитесь, – ответила она. – У меня есть.

Он вернулся в свою «десятую палату», зажег керосинку и снова склонился над учебником.

*

Утром, заваривая чай в общей кухне, Лидия Григорьевна, не глядя, положила на стол перед Верой серебряный полтинник:

– На конку. Или на бумагу. Решай сама.

Вера спрятала еще теплую монету в карман фартука – рядом с наперстком, ножницами и обрывками ниток.

За окном было серое апрельское утро. Дождь кончился еще ночью, но небо осталось тяжелым, влажным, и только кое-где сквозь тучи пробивался бледный свет. Воробьи щебетали в голых еще кустах, радуясь теплу. Еще одна весна. Еще один год ожидания.

Вера подошла к комоду, открыла ящик и достала оттуда пару носков, которые связала прошлой осенью – тогда, в приступе тоски и желания хоть что-то сделать своими руками. Они вышли широкими, неуклюжими, не лезли ни в одни ботинки. Лежали всю зиму мертвым грузом, напоминая о неудаче.

Она взяла спицы и начала аккуратно распускать плотную, неровную вязку. Шерсть, освобождаясь, с тихим, успокаивающим шелестом сматывалась в тугий, упругий клубок. Из неудавшейся, ни на что не годной вещи получался отличный, добротный материал.

«Вот и я пока, – подумала она, глядя на ровные ряды ни-

ток. – Не готовое изделие, не «вещь» для чьего-то обихода. Пока – только материал. Но материал – качественный, с потенциалом. Главное – не бояться распустить неудачную попытку, чтобы связать что-то новое. Свое».

В тетрадошке, куда она записывала каждый рубль, к апрелю скопилось почти сорок рублей. До курсов оставалось меньше пять месяцев.

Летом уроков будет меньше: гимназисты разъедутся по дачам, по имениям, кто в Крым, кто в деревню. Но мать обещала пристроить ее к знакомой белошвейке – помогать с простыми заказами, обметывать петли, подшивать платки. Работа нехитрая, но копейка в дом. Да и вдвоем за машинкой веселее: можно читать вслух, пока пальцы заняты, или просто молчать, но чувствовать, что ты не одна.

Глава 8

Вера вернулась с урока – третьего за эту неделю у Костроминых на Пречистенском бульваре. Дом был из новых, с претензией на столичный шик: лепнина на фасаде, зеркальные стекла в окнах, швейцар в ливрее у дверей. Внутри пахло дорогими духами, мастикой для паркета и чем-то еще, неуловимо чужим, – тем особым запахом богатых домов, где каждая вещь стоит больше, чем человек, который за ней ухаживает.

Мальчик, Костя, сидел за огромным письменным столом красного дерева и смотрел на Веру с выражением тоскливой обреченности. Ему было семь лет, и Пушкин, который она пыталась вдолбить в его хорошенькую, но совершенно пустую голову, казался ему наказанием за какие-то неведомые грехи.

– Ну зачем мне это? – ныл он, отодвигая книгу. – Папа говорит, что главное в жизни – уметь считать деньги и не давать себя обманывать. А стихи... стихи барышням читают, когда ухаживают.

Вера сдержала вздох. Она уже привыкла к этому сопротивлению – не детскому, а сословному, въевшемуся в плоть и кровь маленького барина, которому с пеленок внушали, что знания – это не цель, а инструмент, и далеко не самый главный.

– А ты знаешь, – сказала она спокойно, закрывая книгу, – что Пушкин был не просто стихотворец? Он знал восемь языков, разбирался в истории, писал письма, которые до сих пор изучают как образцы ума и благородства. И его убили не потому, что он плохо считал деньги, а потому, что он защищал свою честь. Сможешь ли ты защитить свою, если даже не понимаешь, что это такое?

Костя надулся, но в глазах его мелькнуло что-то похожее на мысль – может быть, впервые за этот урок. Он снова открыл книгу и стал бубнить, запинаясь на каждом слове. Вера слушала и думала о том, что из этого мальчика вырастет такой же Костромин-старший – сытый, довольный, с тугим кошельком и пустой душой. И ничего она с этим не сделает. Ни Пушкин, ни она сама.

Когда урок кончился и горничная проводила ее до дверей, Вера вышла на бульвар и глубоко вдохнула. Майский воздух был густым, пряным, с привкусом пыли и распутившихся почек. Солнце палило немилосердно. Москва изнывала от жары, и даже в тени вековых лип на Пречистенском было душно.

Дома она как всегда застала мать за шитьем. Лидия Григорьевна сидела у окна, щурясь на яркий свет, нога ритмично нажимала на педаль. При виде дочери она убрала ногу, маховик сделал последний оборот и замер, и кивнула на маленький столик.

– Тебе записка. Дворник принес.

Вера развернула листок. Крупный, размашистый почерк Сережи она узнала сразу:

«Вера, здравствуй! Погода такая, что хоть в прорубь лезь. Может, сбежим от жары на час? Гуляю сегодня после шести. Если сможешь – жду у Пречистенских ворот. Сережа».

Она перечитала два раза, чувствуя, как на губах сама собой появляется улыбка. Потом спохватилась, спрятала записку в карман и прошла в свою комнату.

– От Сережи? – спросила мать, не поднимая глаз от работы. Голос ее звучал ровно, но Вера знала этот тон: мать уже все поняла и теперь просто ждала.

– Приглашает гулять, – ответила Вера, стараясь, чтобы голос звучал буднично. – Сегодня, после шести.

Мать помолчала, ведя ткань под лапку. Потом подняла глаза и посмотрела на Веру долгим, изучающим взглядом.

– Пойдешь?

Вера пожала плечами, но внутри уже все решилось. Уроки, вечная экономия, бесконечные мысли о курсах, о деньгах, о будущем – все это давило так, что иногда хотелось просто выть. А Сережа... Сережа был легким. С ним можно было не думать о рублях, можно было просто идти и слушать его болтовню, и на душе становилось теплее.

– Пойду, – сказала она. – Почему бы нет?

Лидия Григорьевна кивнула, и в этом кивке было что-то большее, чем просто согласие. Было одобрение, была надеж-

да, было – Вера чувствовала – материнское желание, чтобы у дочери наконец появилось что-то кроме уроков и подсчетов.

– Хорошо, – сказала мать. – Проветришь. А то засиделась ты в своих книжках.

Вера переделалась в более легкое платье – то самое, голубое, перешитое из мамино, которое надевала на бал. Поправила косы, взглянула на себя в зеркало. Из темного стекла на нее смотрела девушка с блестящими глазами и чуть покрасневшимися щеками. «Просто прогулка, – сказала она себе. – Просто захотелось отвлечься».

У площади былолюдно. Студенты, чиновники, спешащие по делам, дамы с зонтиками от солнца, торговки с корзинами – обычная московская толпа. Сережу она увидела издалека: он стоял, прислонившись к ограде, и крутил в руках фуражку. Белый студенческий китель был расстегнут, светлые волосы растрепались, и в этой небрежности было что-то очень молодое, почти мальчишеское.

– Пришла! – обрадовался он, заметив Веру, и шагнул навстречу. – А я уж думал, что зажаришься в своих уроках и не выйдешь. Идем скорее, а то тут дышать нечем.

Они пошли в сторону Пречистенского бульвара. Вечерний воздух был тяжелым, но после душных комнат казался почти прохладным. Сирень уже осыпалась, но ее запах еще висел в воздухе, смешанный с пылью и бензином от редких автомобилей.

– Как твои Костромины? – спросил Сережа, когда они

свернули в тенистую аллею. – Все еще пытаются сделать из сына человека?

– Пытаются, – усмехнулась Вера. – Но, кажется, безуспешно. Он сегодня заявил, что Пушкин нужен только для того, чтобы читать стихи барышням при ухаживании.

– Ну, в чем-то он прав, – засмеялся Сережа. – Я, например, тоже иногда думаю, что если бы не барышни, половину классиков можно было бы вообще не проходить. Но ты не слушай меня, я циник.

– Ты не циник, – возразила Вера. – Ты просто... умеешь не принимать все близко к сердцу.

Он посмотрел на нее внимательно.

– А ты принимаешь?

– Приходится, – вздохнула она. – Если я не буду принимать, кто тогда будет?

Они помолчали, проходя мимо скамеек, где сидели парочки, няньки с детьми, старики с газетами. Где-то играла шарманка – надрывно и весело одновременно.

– Слушай, – сказал вдруг Сережа, – а давай пойдем в кондитерскую? Тут недалеко есть одна... Там такие пирожные делают, пальчики оближешь. Я угощаю.

Вера колебалась. Пирожные – это лишние деньги, и тратить их на такие пустяки... Но Сережа смотрел на нее с такой надеждой, что отказать было невозможно.

– Только недолго, – сказала она. – Мне еще к завтрашнему уроку готовиться.

Кондитерская оказалась небольшой, но уютной. Вдоль стен стояли простые деревянные столы, покрытые белыми скатертями, а на окнах висели кружевные занавески. Пахло ванилью, корицей и свежей выпечкой, а за прилавком, в стеклянной витрине, красовались пирожные, булочки и шоколадные конфеты. Сережа заказал два больших эклера и чай, и пока они наслаждались, рассказывал о своих профессорах, о смешных случаях на лекциях, о том, как один его однокурсник перепутал римского императора с византийским и получил отповедь, после которой неделю ходил красный.

Вера слушала и улыбалась. Впервые за долгое время ей не нужно было ни о чем думать – просто сидеть, пить чай и слушать этот легкий, ни к чему не обязывающий разговор. Эклер оказался восхитительным – нежное тесто, тающий крем, тонкий слой глазури. Она ела медленно, стараясь растянуть удовольствие, и ловила себя на мысли, что Сережа смотрит на нее с каким-то новым выражением – не прежним, дружеским, а чуть более внимательным, что ли.

– Хорошо с тобой, – сказал он вдруг, и в его голосе не было обычной шутливости. – Легко. Понимаешь?

Вера кивнула, боясь спугнуть эту минуту словами.

Потом они снова гуляли по бульвару, уже в сумерках. Зажглись фонари, воздух стал чуть прохладнее, и где-то вдалеке, в чьем-то саду, запел соловей. Сережа взял ее под руку, и она не отняла – так было удобно идти, да и вечер располагал к такой невинной близости.

У подъезда ее дома они остановились. Сережа помялся, зачем-то поправил фуражку, потом сказал:

– Спасибо тебе. За то, что согласилась. Я понимаю, у тебя дел полно... Но если захочешь еще раз отвлечься – ты только свистни. Я всегда рад.

Вера улыбнулась.

– Спасибо тебе. За пирожные. И за компанию.

– Ну, пирожные – это ерунда, – отмахнулся он. – Главное – компания. Твоя.

Он задержал на ней взгляд чуть дольше, чем позволяли приличия, потом кивнул и быстро пошел прочь, не оглядываясь.

Вера поднялась по лестнице, вошла в квартиру. Мать сидела не за машинкой, как обычно, а за столом, подперев щеку рукой. Перед ней лежал исписанный листок.

– От Аделаиды, – сказала она, заметив Веру, и в голосе ее прозвучали давно забытые, молодые нотки. – Из Одессы. Помнишь, я тебе рассказывала про нее? Танцевали вместе... Зовет к себе. Пишет: «Пока ноги носят, Лидочка, приезжай, повидаемся».

Она замолчала на мгновение, бережно отложила письмо и, словно возвращаясь из прошлого в настоящее, взглянула на дочь уже ясным, внимательным взглядом.

– Ну а ты? Хорошо погуляли?

– Да, – ответила Вера, снимая шляпку и вешая ее на гвоздь. – По бульвару ходили. В кондитерской были.

– В кондитерской? – мать приподняла бровь, но в голосе не было ни удивления, ни вопроса – просто легкое любопытство. – Это хорошо. Погода нынче теплая, в такую жару в кондитерской, наверное, особенно приятно.

Она помолчала несколько минут и, не поднимая глаз, добавила:

– Сергей – приятный молодой человек. Умный. И воспитанный.

Вера молчала, перебирая в памяти вечер: его смех, эклер, тающий на языке, его взгляд, когда он смотрел на нее у подъезда.

– Да, – сказала она наконец. – Приятный.

Мать кивнула, принимая ответ. Больше она ничего не спросила. Лампа горела ровно, за стеной тихо позвякивала посуда – соседи мыли посуду после ужина. Обычный вечер. Обычная жизнь.

Вера прошла в свою комнату, зажгла лампу, достала дневник. Перо замерло над бумагой.

«Сегодня гуляла с Серезжей. Было легко. Он смешил, рассказывал про университет, про профессоров. Потом мы зашли в кондитерскую – он угощал эклерами. Обратном или по бульвару, уже в темноте, пели соловьи. Он взял меня под руку, и я не отняла. Просто было удобно так идти. Мать спросила, хорошо ли погуляли. Я сказала – да. Она ничего больше не спросила. И это, наверное, правильно».

Она закрыла тетрадь и долго сидела неподвижно, глядя

на огонек лампы. За стеной было тихо, только иногда чуть слышно поскрипывал стул – мать не ложилась, видно, все еще сидела над письмом, и в этом привычном, домашнем звуке было что-то, что возвращало к реальности после сегоднешнего вечера, полного смеха, сладостей и легких, ничего не значащих разговоров.

Вера погасила лампу и легла. В темноте, перед сном, она позволила себе вспомнить его лицо в свете фонаря, когда он смотрел на нее у подъезда. И улыбнулась – сама себе, в пустоту. За окном Москва спала, убаюканная теплом и тишиной.

*

А 1 сентября 1903 года Вера вошла под своды Политехнического музея на Лубянской площади, где размещались аудитории Высших женских курсов. Старый, немного потертый портфель под мышкой, белая блузка, выстиранная до прозрачной тонкости и накрахмаленная так, что она шелестела, как осенняя листва, серая юбка, перелицованная за одну бессонную ночь. Это был не наряд – это были доспехи. Доспехи девушки, вступившей на территорию, где ее ум был единственной законной валютой.

В кармане лежало извещение о приеме: *«Слушательница историко-филологического отделения»*. Бумага была казенной, холодной на ощупь, но вес ее был сродни гире, взятой на плечи. Отныне ее одиночество, ее «инаковость» получали официальный статус. Чтобы думать своей головой, нужно

было отвоевать для нее пространство, освободив от мыслей, ожиданий и планов всех остальных.

Вестибюль гудел, как растревоженный улей. Курсистки – кто в строгих темных платьях, кто в скромных блузках с высокими воротниками, кто в поношенных, но опрятных жакетах – толпились у расписаний, переговаривались, смеялись нервным, приподнятым смехом. Пахло нафталином (доставали осеннее после лета), дешевыми духами и тем особым, чуть кисловатым запахом казенных помещений, где много лет подряд открывали форточки, топили печи, но так и не могли избавиться от духа присутственных мест.

Вера скользнула взглядом по лицам. Рыжеватая веснушчатая девушка в очках с железной оправой – явно из разночинок, судя по потертым рукавам. Две хохотушки в модных жакетах с буфами – купеческие дочки, приехавшие не столько за знаниями, сколько «для кругозора», как та самая Елена из педагогического класса. Худенькая брюнетка с бледным, фанатичным лицом, с коротко стриженными волосами и в простом темном платье без украшений – когда их взгляды встретились, девушка быстро отвела глаза, будто боялась, что по ним прочтут лишнее – наверное, уже ходит на сходки и спорит о конституции. И совсем молоденькая, почти девочка, которая испуганно озирается по сторонам, видимо, впервые в Москве и без знакомых.

Вера почувствовала привычный укол одиночества. Здесь все будут чужими. Но вместе с тем – и своими. Потому что

всех их, таких разных, привело сюда одно: желание учиться. Иметь право на мысль. Это объединяло сильнее, чем общие платья или общие знакомые.

Она поднялась на второй этаж, где в большой аудитории с амфитеатром деревянных скамей уже начиналась первая лекция. Читал приват-доцент Кизеветтер – о реформах Петра Великого. Говорил страстно, увлеченно, и Вера ловила каждое слово, забыв о тесных ботинках и о том, что завтра снова надо будет считать копейки.

Уроки она не бросила. Теперь их стало даже больше – молва о терпеливой и умной репетиторше разошлась по Остоженке и окрестностям. К Костроминым она больше не ходила – там предпочли нанять студента-мужчину, для солидности. Зато прибавилось других: дочка аптекаря с Плющихи, которой нужно было подтянуть русский, два брата-гимназиста из семьи присяжного поверенного, путавшиеся в истории, и тихая барышня с Арбата, готовящаяся к поступлению на те же курсы.

Вера составляла расписание жестко, как полководец: утро – лекции, день – уроки, вечер – библиотека или подготовка к семинарам. Иногда удавалось выкроить час-другой – и этот час принадлежал Сереже.

Они виделись не часто – учеба загружала обоих, но каждая встреча становилась маленьким праздником. Иногда он ждал ее после лекций у подъезда музея, прислонившись к воротам и крутя в руках фуражку. Она выходила – усталая,

с тяжелой сумкой книг, – и при виде его улыбки внутри разливалось тепло.

Если позволяла погода, они гуляли, неспешно удаляясь от шумной Лубянки в сторону Театральной площади. А потом, если у Сережи в кармане бренчало несколько монет, он с заговорщицким видом предлагал:

– Ну что, Вера Петровна, не зайти ли нам к Филиппову? Говорят, у них сегодня пирожки с визигой особенно хороши. Или, может, предпочтете кофий у Флей на Кузнецком?

Они шли в булочную Филиппова на Тверской. Внутри пахло выпечкой, жареным мясом и молодостью, и Вера, сидя напротив Сережи с тарелкой, на которой лежали два румяных жареных пирожка, чувствовала себя почти счастливой.

– Ну как твои курсистки? – спрашивал он, откусывая пирожок. – Есть интересные экземпляры?

– Есть, – отвечала Вера. – Одна, знаешь, на первой же лекции встала и начала спорить с профессором о петровских указах. Он ей: «Помилуйте, сударыня, но источники...» А она: «А вы читали Татищева в подлиннике?» Я чуть не зааплодировала.

– Ого, – Сережа делал серьезное лицо. – Боевая. Смотри, подружись с такой – она тебя на баррикады утащит.

– А ты против баррикад? – в шутку спрашивала Вера.

– Я – за то, чтобы ты была цела и сыта, – отвечал он, и в его глазах мелькала та особенная теплота, от которой у Веры почему-то хотелось отвести взгляд.

Она не знала, почему. Просто – отводила. И начинала говорить о чем-то другом.

Иногда они гуляли по вечерней Москве. Доезжали на конке или на извозчике до заставы, а дальше шли пешком, поднимаясь по склону на Воробьевы горы, откуда город лежал как на ладони – с золотыми куполами, дымящими трубами, бесконечными крышами. Смотрели, как зажигаются огни, и молчали. Это молчание было лучшей частью их встреч – когда не нужно ничего объяснять, не нужно ничего доказывать, можно просто быть рядом.

Дома она ловила на себе внимательные взгляды матери. Лидия Григорьевна ничего не спрашивала – она вообще редко лезла с расспросами, – но иногда, за ужином, роняла негромко:

– Ты сегодня поздно.

– С Сережей гуляли, – коротко отвечала Вера, не поднимая глаз.

Мать кивала и возвращалась к шитью. Больше ни слова. Но в этом молчании чувствовалось что-то – не осуждение, не давление, а просто ожидание. Терпеливое, спокойное, материнское.

Вера знала: мать видит больше, чем говорит. Видит, как дочь иногда задерживается взглядом на окне, как улыбается своим мыслям, как в голосе появляются новые нотки. Но не торопит. Ждет, когда Вера сама захочет сказать.

А Вера не говорила. Не потому что скрывала – просто не

находила слов для того, что происходило между ней и Се-
режей. Это было слишком новым, слишком хрупким, чтобы
облекать в слова. И слишком своим.

Иногда она ловила себя на мысли, что ждет его записок
– тех коротких, наспех написанных строчек, которые он пе-
редавал через дворника или оставлял в условленном месте у
ворот. Иногда – что боится этих записок. Потому что каждая
из них требовала ответа. А она не знала, какой ответ хочет
дать.

В ее дневнике появлялись странные, обрывочные записи:
*«16 октября. Сегодня после лекции он ждал у входа. Два
часа, сказал. Промок совсем. Я рассердилась – зачем? Он
только улыбнулся: «Хотел увидеть». Почему от этого так
трудно? Почему не могу просто сказать – спасибо?»*

*«23 октября. Опять гуляли. Он взял меня за руку, ко-
гда переходили улицу. Не отпускал потом долго. Рука у него
большая, теплая. Я думала: вот так идти и идти. А потом
подумала: а дальше что? И стало страшно. Сама не знаю
чего».*

*«3 ноября. Мать спросила, не хочу ли я пригласить его
в гости. Сказала – нет. Она не настаивала. Но я видела,
как она посмотрела. Как будто я сама себя обкрадываю.
Может, так и есть. Но не могу. Не могу представить его
здесь, за этим столом, при этой лампе. Это мое. А он... он
другое. Или я боюсь, что он станет моим – и тогда что
останется мне?»*

*

В тот же вечер, в тесных, промерзлых стенах своей «десятой палаты» в Малом Левшинском переулке, Илья сидел над учебником физиологии. Керосинка под зеленым абажуром коптила – фитиль давно пора было чистить, но руки не доходили, да и керосин нынче дорог. В комнате стоял тяжелый, спертый воздух, пропитанный запахом формалина (вечно въедался в одежду после анатомического театра), сыростью от промерзших стен и остывшей картофельной шелухой – ужин доедал наспех, стоя у стола.

За окном – все тот же тихий, первый московский снег. Он падал крупными хлопьями, медленно, торжественно, и в его беззвучном кружении было что-то успокаивающее, почти похоронное. В печке-голландке тлели последние угольки – дворник топил исправно, но угля давали в обрез, и к полуночи тепло уходило, оставляя только сырость, сочащуюся из промерзших углов. Илья накинул на плечи старенькое байковое одеяло – другого тепла не было.

А в голове, назло всем учебникам, стоял навязчивый, четкий образ: Вера. В скромном пальто, в темной шерстяной шляпке, повязанной поверх платком. Тяжелые косы уложены короной – так она стала убирать волосы на курсах, взрослее, строже. Рядом – Сергей. Они шли близко, плечом к плечу, по присыпанной снегом улице, их силуэты сливались в единое, неразрывное целое – монолит против вечернего городского шума и чужих взглядов. Сергей что-то говорил,

оживленно жестикулируя, а она слушала, чуть склонив голову, и на губах ее играла та самая улыбка – не сдержанная, не вежливая, а настоящая, легкая, как снег на ладони.

Он видел их вчера, возвращаясь от очередного ученика с Плющихи. Шел домой по Смоленскому бульвару, торопясь, пряча лицо от ветра, и вдруг замер. Он инстинктивно шагнул в тень подворотни, прижался к холодному кирпичу. Они прошли мимо, в пяти шагах, совсем близко. Вера не заметила его. Или сделала вид. Сергей – тот точно не видел, увлеченный разговором.

Илья смотрел, как они удаляются, как снег ложится им на плечи, как она поправляет его шарф – машинально, похозяйски. И впервые поймал себя на простой, убийственной мысли: «Она счастлива». И следом, как тень этой мысли, пришла вторая: «А я – не часть этого счастья. Я – посторонний наблюдатель. Все как обычно».

Он не злился. Не предавался романтическим терзаниям. Он констатировал факт, как констатировал бы неудачный исход операции или ошибку в диагнозе. Сжал зубы, поправил съехавшее с плеча одеяло и заставил себя смотреть в книгу. Латынь, нервы, синапсы – вот его мир. Четкий, ясный, предсказуемый. В нем нет места для «счастья» в том смысле, какой вкладывают в это слово обычные люди.

Он просто закрыл глаза, чтобы погасить эту картинку, но она выжглась на сетчатке. Мир забирал ее у него – не силой, не злом, не интригой. Самой своей нормальной, разум-

ной, добропорядочной логикой. Той самой логикой, в которую он, Илья Арсеньев, с его поношенным пальто с толкучки, с вечным запахом формалина под ногтями, с головой, забитой латинскими названиями костей и нервных сплетений, никогда не впишется. Он был инструментом для починки мира, а не его украшением. Лекарь, а не герой романа.

Он закрыл учебник. Открыл тетрадь для конспектов – ту самую, в серой обложке, которую когда-то подарила ему Вера. Рука на мгновение замерла, пальцы погладили шершавый коленкор. Потом он резко открыл чистую страницу и, макая перо в чернильницу-непроливайку, мелким, четким почерком вывел:

«Сердце сокращается под тормозящим влиянием блуждающего нерва. Нисходящие тормозящие влияния от коры головного мозга могут модулировать даже безусловный рефлекс. Чувство – сложный психофизиологический феномен, результат интеграции нервных и гуморальных сигналов. Боль – субъективное ощущение, интерпретация организмом повреждения. Локализация – не всегда совпадает с источником».

Он писал, пытаясь заключить хаос в клетку терминов, разобрать живое горе на составные части, как труп на анатомическом столе. Пока не доберешься до сути – до холодной, неопровержимой механики. Пока не поймешь: это просто химия, просто электричество, просто рефлекторная дуга. Ничего личного.

Но рука, державшая перо, предательски дрожала. Чернильная клякса упала на строку, расплылась, как темное пятно боли на рентгеновском снимке души. Он смотрел, как она расползается, впитываясь в бумагу, и думал: вот так же и память – въедается, не отскребешь.

Потому что рефлекс – он и есть рефлекс. Его можно описать, изучить, предсказать. А вот боль – всегда настоящая. И от знания ее механизма – не легче. Ни на грамм.

Илья закрыл тетрадь, погасил керосинку и лег, не раздеваясь, поверх одеяла. Спать не хотелось. Он смотрел в потолок, где плясали отблески уличного фонаря, и думал о том, что завтра снова идти в анатомичку, снова резать, учить, запоминать. А послезавтра – уроки, считать рубли, откладывать.

И, наверное, это хорошо. Когда есть работа, некогда думать о том, что могло бы быть, если бы он родился в другом мире. В том, где можно просто идти по бульвару, держа за руку ту, которая улыбается тебе настоящей улыбкой.

Он закрыл глаза. Снег все падал за окном, засыпая Москву, засыпая следы, засыпая все, что нельзя исправить.

Глава 9

0

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.